Я прошу тебя возвратиться

Анатолий Борисович Краснопольский

SHOUT
SHARE
IT

- Краснопольский Анатолий Борисович

Краснопольский Анатолий Борисович
Я прошу тебя возвратиться

Анатолий Борисович Краснопольский

Я ПРОШУ ТЕБЯ ВОЗВРАТИТЬСЯ

Повести Анатолия Краснопольсного "Я прошу тебя возвратиться" и "Четыре тысячи историй" посвящены военным медикам. В них рассказывается о дерзновенном творческом поиске и подвиге солдат в белых халатах, их любви к людям, которым они своим каждодневным трудом возвращают здоровье. жизнь, счастье.

Если нет заботы о памяти мертвых, нет
заботы и о жизни живых...
Э. Межелайтис

Теперь, отец, я отправляюсь к тебе.

...Когда все это случилось, я помню, была снежная-снежная зима, помню, как расстегнутые полы моего пальто, сшитого из толстой сукнины, тяжело метались по сугробам. Я бежал к маме по улице, застывшей во тьме, падал в какие-то ямы, выкарабкивался и спова делал свои трудные шаги. Я первый узнал об этом... Мне сказал Вовка Чередниченко, потом он, собирая колоски, подорвался на мине и умер в той больнице, где ты работал перед уходом на фронт.

Почему ты меня тогда не разбудил? Мама рассказывала, ты долго стоял надо мной, спящим, потом на цыпочках подошел к вешалке, оделся, хотел было по привычке взять меня за ухо, но раздумал. И осторожно ушел. И не разбудил.

- Я хотел, мой мальчик, чтобы ты меньше ждал меня. Хотя бы на одну ночь меньше, - вдруг почудился мне твой голос издалека. Показался, послышался так ясно, будто ничего и но случилось, будто ты рядом, так близко, что я ощущаю твое дыхапие. И этот твой голос, зазвучавший сегодня во мне, стал моим спутником, советчиком, судьей.

Здание киевского вокзала, похожее на гигантский шлем древнерусских кпязей, медленно смещается влево;

и вот уже поезд повис над стынущим Днепром, вот уже замельтешили сосны, прижатые к темноте белокаменными плечами даршщкого жилого массива, побежали по насыпям квадраты света, бьющего из окон. И в твоем голосе нарастает тревога:

- А где же мама? Или у нее давно новая семья, дела, заботы?

У мамы новая семья?! Да ты вспомни, вспомни вашу первую встречу. В тридцатый годы в шахтерском поселке ты заведовал амбулаторией. Однажды на прием к врачу пришла девушка.

- Мое почтение! - произнес ты свое излюбленное приветствие, взглянув на нее мельком и продолжая еще что-то записывать в бумагах, разложенных на столе.

На что жалуемся?

- Сердце болит, - тихо ответила девушка.

- Раздевайтесь, - привычно предложил ты, не меняя своей позы, - до пояса, пожалуйста.

- Раздеваться?.. Я не буду, - стеснительно, а скорее испуганно сказала девушка.

- Тогда мне трудно вам чем-либо помочь.

И тут ты повернулся в ее сторону. Хрупкая, в полинявшей кофточке с заплатами на острых локотках, девушка стыдливо прикрывала ладошкой верхнюю пуговку. Ты поднялся из-за стола, сделал к ней шаг.

Девичьи пальцы отчаянно мяли батистовый платочек: вдруг она выронила его, резко наклонилась, чтобы поднять, и было слышно, как об пол тяжело ударилась туго заплетенная коса.

Ты осторожно взял девушку за руку, нащупал пульс:

- В таком случае хоть расскажите о себе.

В ответ растерянный тоненький голосок:

- У меня куча малышей. - Она вдруг запнулась, как будто отвечала самый сложный урок. - Я учительница. А малыши приходят ко мне из Свистовки, из Бандовки, из Пьяной Балки. Когда дождливо и грязь на дорогах, классы пустеют, детям не во что обуться. И я целый день плачу. А мне по программе нужно проходить с ними букву "р"...

- Букву "р"? - зачем-то переспросил ты.

- Да, уже "р"...

- Ну, вот понервничали, и болит. И вы правы: можно не раздеваться.

Ты впервые уступил пациентке. И, скрывая это, ты, солидный человек с тонкими усиками над добродушной губой, вдруг рассмеялся. Значит, "р"... Тогда мама не подозревала, что почти столько же лет, сколько было ей, ты месил грязь по проселочным дорогам, закончив, как сказано в свидетельстве, курс фельдшерской школы при Голицынской больнице для питомцев Императорского Московского воспитательного дома, где обучался анатомии и физиологии, оперативной хирургии, ортопедии и даже закону божию. Не знала мама и того, что, только сполна намаявшись по глубинкам, ты смог поступить в

Днепропетровский медицинский институт.

- Нет, друг мой, я все сказал маме. Сказал, как студентом снимал угол и, чтобы меньше платить за жилье, пять лет спал на полу. Сказал даже о том, как раз в неделю ходил на городскую ярмарку, где торговали дешевыми борщами. Все сказал йотом...

А пока в тебе смеялся опытный врач и проницательный человек. И этот смех, лта твоя короткая прическа без единой сединки в спутанных полосах делали тебя в глазах нашей мамы молодым-молодым.

- Не будет никаких Свистовои и Бандовок, - говорпл ты, вышагивая по кабинету. - Прекрасно жить будут люди и своим селениям дадут совсем другие имена, - мечтательно заглядывал ты в мое сегодня. - А пока, - ты снова взял девушку за руку, - вам нужпы прогулки на свежем воздухе, - и предложил маме вместе провести вечер.

Когда она появилась у ворот больницы, ты уже сидел на облучке санитарной двуколки. И вы двинулись в путь. Осторожно, будто ощупывая землю, лошадь стучала копытами: так-так, так-так. За околицей раскинулось поле, и мама ждала, что ты взмахнешь кнутом, и понесется ваша колесница ковром-самолетом. Но раздавалось все то же "так-так", только глуше и монотоннее.

- Вы не умеете управлять лошадьми? - робко спросила маяа.

- Почему вы так решили? Вырос я в селе. У отца был клочок земли, и мы, хлопцы, пахали, сеяли за милую душу, - как бы оправдывался ты под медленный стук копыт.

- Тогда, - сказала мама, - вы думаете, я боюсь быстрой езды?

Ты неловко заерзал на облучке:

- Эта лошадь всю жизнь возила вагонетки под землей, там и ослепла. Теперь вот шахтеры подарили ее нашей больнице. Зачем же списывать в расход прославленную Горпячку?

- Простите, - мама с нежностью тронула поводья.

А Горнячка, услышав свое имя, вдруг затрусила рысцой. Доверяясь человеку, лошадь продолжала ему служить. И тогда ромашковое поле под закатными лучами вспыхнуло живым золотом. Ты повернулся к маме:

- Красоту дано видеть и слепым...

Мама вспоминает, как в тот вечор, глядя на закатное поле, она подумала о вашей золотой свадьбе. Ромашковыми головками летели ваши годы. Счастливые годы любви. Один, два, десять... Потом отсчет пошел не от первой встречи, а от тысяча девятьсот сорок первого года, от холодной снежной зимы.

- Я полюбил нашу маму с первого взгляда.

- Тогда как же ты можешь думать о какой-то маминой новой

семье? Просто маме сейчас нездоровится, и я еду к тебе один.

В купе уютно и чисто. Если закрыть дверь, стихает шум. Совсем как дома. Можно быть хозяином своих дорожных раздумий. Только брошенные на верхнюю полку пальто да портфели напоминают о том, что я здесь не один. Со мной едут двое. Они появились перед самым

отходом поезда, оставили пещи и куда-то исчезли.

Не успеваю подумать о своих попутчиках, как вот они, легки на помине. В дверях появляется усач, за ним молодой парень в вязаном свитере. Выкладывают на столик свертки, коробки.

- Извините, - говорит парень, - не обедали еще сегодня, замотались.

- Милости просим к нашему столу, - приглашает усач.

- Спасибо, спасибо, я только что из дому.

Стоя у окпа, вижу, как снежинки старательно заштопывают темноту. Вагон швыряет из стороны в сторону.

В Ворошиловградо я буду утром. Это была твоя последняя дорога. Теперь по этой дороге я еду к тебе.

- Только теперь... Спустя тридцать лет...

Закрываю ладонями глаза: да, целых тридцать...

Я знал, что ты спросишь... О, я бы давно примчался, прилетел, оставил все на свете, но я пе знал, где ты...

Только теперь в моих руках оказался твой вечный адрес.

- Как же это произошло?

Как это произошло? Сейчас, сейчас... Голова идет кругом. Еще поезд стучит, гремит, грохочет... Все произошло как будто просто, а на самом деле... Впрочем, это был обычный осенний день.

Я вышел из отделения и побрел по госпитальному городку. Асфальтированные дорожки, бегущие вдоль толстостенных корпусов, словно возвращают меня в старипу. Воп там, в полукруглых окнах, за которыми теперь находятся наши ординаторские, в этих бывших бойницах мне видятся пушки, подвешенные с помощью крючьев, оставивших навсегда свой след в потолке. В фойе нашего клуба написано, что открытый в 1755 году "полевой шпиталь для лечения воинских чинов из батальонов русской армии" входил в Киево-Печерскую цитадель как самостоятельный узел укрепрайона. Тогда здесь было три отделения: ломотное, полостное и лихорадочное. Здесь лечились герои походов Суворова. Гремели бои, лилась кровь, и потому вокруг "шпиталя" на случай вражеского нападения бежал ров, ныне притаившийся под кронами парка. Я и нс заметил, как забрел в глубину аллей.

Здесь по-особому ощущаешь свежесть воздуха, уже

позимнему прохладного и бодрящего. Нашел укромную скамейку. Гляжу, белка из-за ствола ясеня тянет ко мне мордочку: не угощу ли чем? Угощу. Припас орех. "Машка, Машка!" зову. Тут этих белок у нас целые семьи, и я у/к знаю их повадки. Бросаю орех, Машка вертит его в своих лапах, проверяет на прочность. Сейчас она побежит с подарком от меня подальше и, как самую дорогую капсулу, зароет орех в листья. Я осторожно закуриваю, чтобы не спугнуть зверька.

- Майор медицинской службы располагает спичками? - послышалось вдруг из-за плеча, рядом со мной на скамейку опустилась девушка.

- Прошу, - я протянул зажигалку.

- И сигарету.

Она мучительно долго прикуривала, кося темными зрачками в одну точку сквозь упавшую медную прядь волос, стараясь разглядеть, задымилась ли сигарета.

И тут же закашлялась до слез.

- Кубинские? - спросила.

- Болгарские, - объяснил я.

- Все равно не мои. Я привыкла к табаку более высокого сорта. - И она щелчком стрельнула сигаретой в кусты.

Она расстегнула свое ярко-красное лакированное пальто и лихо забросила ногу на ногу. Брюки в полоску.

- Что это вы так пристально меня обозреваете? - спросила низким голосом, словно натруженным долгими разговорами. - Вам не по вкусу мои брюки? Ну а если у девушкп красивые ноги и она не терпит, когда пристают? Это ее спасение. Я, может, говорю глупости...

Зачем она появилась тут? Была в управлении госпиталя и ей отказали в работе? Это нам медсестры, если, конечно, она медсестра, ох как нужны.

- Простите, девушка, вы хотите меня о чем-то попросить, - сказал я утвердительно, пытаясь узнать о ее намерениях.

- Просить? Каменные вы все тут. Понятно? Каменные, - и сказала вполне серьезно: - Я, может, просто хочу назначить вам свидание.

- Почему именно мне?

- А почему не вам? Бы любите белок, любите животных, значит, вы хороший человек.

- Хорош человек, пока не имеешь с ним дела, - сказал я.

- А, - протянула она и наклонилась, чтобы поднять с земли желтый лист. - Боитесь разочарований. - В ее голосе звучало какое-то искусственное сочувствие. - А как насчет риска? - Она протянула листок белке, которая снова высунула мордочку из

кустов. - Прыгай сюда, рыжая, давай познакомимся, меня зовут Анной. - И, не поворачиваясь ко мне, по-деловому спросила: - Так когда же мы идем?

- Куда? - Я начал было тоже ей подыгрывать.

- Ну, это мне неведомо, в музей, в ресторан, на танцы, в театр.

- Да я, знаете, как-то не планировал.

- Секунду. - Она выпрямилась и, помолчав, уже обращаясь к белке, которая шебуршилась в листве, заговорила: - Видишь, Машка, тут все планируется. Любовь. Смертность. Знакомство тоже.

Я, признаюсь, опешил, но тут же нашелся:

- Культпоходы тоже планируются.

Что еще я мог придумать? Ведь сейчас встанет и уйдет. И все. Встречи в большом городе не повторяются.

А мне уже не хотелось, чтобы она уходила. Где ее потом искать? Я растерянно поднес к губам свою сигарету горящим концом.

- Очень мило, - усмехнулась она. - Когда же мы идем?

Теперь деваться было некуда, и, прикрывая пальцами обожженную губу, я пустился было в размышления:

- Сегодня я не могу. Завтра, - я вспомнил, что должен быть в "академке", в библиотеке нужно покопаться, - тоже вряд ли смогу...

- Уж завтра-то вы сможете, - остановила меня девушка, - потому что я не смогу послезавтра.

Глаза в глаза. Но тут же она не выдерживает и, откинувшись на спинку лавочки, долго смотрит вверх.

И словно замирает: так недвижны ее руки, плечи. "Что же сейчас произошло?" - спрашивает она себя. По мне кажется, она знает ответ, только пе хочет, а скорее боптся произнести его вслух. И еще показалось: ведя разговор о театре, в мыслях она постоянно куда-то уходит, словно что-то важное навязчиво проследует ее, отрывает от самой себя.

- Между прочим, меня зовут Анной, - она снова начала первой. - Если вы когда-нибудь на меня разозл1ттесь, попробуйте мое имя произнести с тремя "н". Полегчает мгновенно..

Итак, мы пошли в театр. Кстати, в оперетту. Мама рассказывала, ты любил оперетту. Шла "Сильва". Артисты играли не бог весть как, но все смеялись, кроме меня.

все аплодировали, кроме меня. Я же был занят своей загадочной девушкой. Когда мы вышли из театра, она сама взяла меня под руку.

- О чем вы размышляете?

- Сказать?

- Да.

- Честно?

- А я не знаю, что такое нечестно, - с обидой произнесла девушка.

Я остановился:

- Хочу вас поцеловать.

В этот момент мы уже были на Бессарабке, возле подземного перехода. Тут, облокотившись на парапет - это я только теперь заметил, - какие-то лоботрясы под ноги прохожим бросали монеты. Прохожие, поднимаясь по ступенькам, начинали растерянно искать глазами вокруг. О, как это забавляло веселую компанию. Гогот взрывался над улицей.

- Поцеловать? - Анна лукаво улыбнулась. - Не тот район, товарищ майор, - и, приподняв ладошку, сказала: - Пока.

- Постойте, - не отпускал я девушку.

- Вы уйдете, побродите по воздуху, развеетесь, а я должна всю тяжесть поцелуя нести с собой? Вы, майор медицинской службы, за поверхностный, тревожный сон пациенток? - говорила она, пронизывая меня темными зрачками, а в голосе слышалась все та же уже знакомая мне игра.

- Анна...

- Да, да, Анна. Попробуйте мое имя произнести с тремя "н".

Пробую. Ни черта не получается. Требует невозможного.

Двое идут по Крещатику. Одному из них хочется, чтобы эта улица никогда не кончалась... Когда-то, сразу после войны, здесь была сплошная груда кирпича и щебня. Между прочим, эпизоды фильма "Подвиг разведчика" снимали вот здесь, за центральным универмагом: операторам не требовалось создавать искусственный пейзаж развалин. И выбрали Крещатик. Теперь не верится, что так когда-то было, особенно когда проходишь мимо "Стереокино", где резвится детвора, кинотеатра "Дружба", здания, несущего в глубину вечернего неба свои высотные огни, горсовета, перед которым, как на Красной площади, стоят в карауле голубые ели. Дальше, вся из стекла и воздуха, гостиница "Днепр". Нет, не такой уж и короткий Крещатик! Только для меня он заканчивается быстро: мы сворачиваем в пассаж.

- Вот мой подъезд.

- Можно я вам буду звонить? - попросил я.

- Можно, но куда? - Анна вскидывает руки к небу. - Лучше давайте вы свой телефон. Правда, я не совсем улавливаю, почему мне надлежит выполнять обязанности мужчины. Впрочем, все ясно: попалась.

Чувствую, как тепло побежало по всему телу.

- Так, - с нарочитой серьезностью произносит девушка, - Завтра я позвоню вам из Иркутска. А потом из Уфы. А потом из самой столицы.

Я гляжу на Анну глупыми глазами. Она открыто дурачится, а я ничего не могу с собой сделать.

- Этого следовало ожидать, - слышится мне твой голос, когда я одиноко бреду по Крещатику. - Кто она, чем занимается? Ты совсем не знаешь ее, а лезешь с поцелуем.

Постой, отец. А если узнаю, разве мне не захочется ее поцеловать?

- Лезешь с поцелуем, едва узнав ее имя.

Нет, не о том мы говорим... Все это в конечном счете мелочи...

- Для них это не мелочи! - уже негодуешь ты. - А вот твоя мама обращалась ко мне на "вы" до тех пор, пока ты не появился на свет.

Ну что ж, ты этого заслуживал, не спорю. Мама рассказывала, ты часто брал ее с собой на вызовы, хотел обучить профессии хирургической медсестры. Однажды вы оказались в доме главного инженера шахты. Мама делала перевязку, ты приговаривал "поплотнее", "вот так", "осторожнее"... Когда все было закончено, ты сказал больному привычное "мое почтение", и вы направились к выходу. И вдруг ты увидел пианино, заставленное елопиками и матрешками, все в кружевных дорожках и выстивках. Оно стояло как диковина тех довоенных времен. "Пианино!" - ликовал ты. "Сыграйте, доктор, сыграйте", - попросила догадливо хозяйка. Ты мигом сгреб с инструмента безделушки, открыл крышку, ласково провел ладонью по клавишам. И начал играть. В дом залетел шквальный ветер, ворвалась гроза. И вот уже ливмя лил дождь. Оп метался по земле, стучал в окна.

звуки неслись в воздухе. Все чаще капли, все гуще струи. Он веселился, колесил по свету, созданный тобой сеселяший дождь. Он торжествовал, он был предтечей солнча и жизни. Это был Моцарт, твой любимый Моцарт. Ты широко раскинул пружинистые руки в стороны, обернулся к хозяевам: "Ну, вот мы и сделали два дела, обслужили больного и сотворили камерный концерт". В тот вечер мама увидела в тебе человека, чьих способностен хватило бы на две судьбы. Ты стал господином ее сердца, ты был для нее "вы". А что я, современный человек с транзистором?

- Не прибедняйся. Если ты культурный человек, ты можешь не играть па скрипке, но обязан знать, как тянуть но струнам смычок. Но не об этом речь. Речь о твоих отношениях с Анной. Уж

очень вы стали взаимодостуипы.

Что ж, отец, мы с Анной сегодня смотрим на вещи иначе. А вообще, как она тебе?

- Мое почтение! Ты, по-моему, хотел рассказать что-- то поважнее? Тебе жи-л,. Ты и решай, туда ли упал твой первый взгляд.

Туда, отец, туда!.. Да, а между прочим, звонки были.

Через два дня прихожу домой, мама говорит:

- Тебе звонили из Хабаровска.

Сперва я подумал: наконец Ломешко объявился, мы с ним еще студентами третьего курса подрабатывали на "скорой помощи" при Октябрьской больнице. Через день мама вдруг говорит:

- Звонили из Свердловска.

Я подумал: нашелся наконец доктор Черников. Служили мы с ним иод Харьковом. Недавно защитился и женился. Так рассыпалось наше холостяцкое общество имени Красного Креста.

- Приятный, приятный голосок, - сказала мама.

Я захохотал:

- У Черникова, как он сам выражался, голос коваля кузнеца-великана, и получилось что-то похожее на гром.

- Господь с тобой, - говорит мама, - это был женский голос.

- Женский?

А мама с затаенной иронией начинает перечислять города Советского Союза, начиная с Владивостока и кончая Львовом. Достает из-под хлебницы какой-то листок.

- Наконец, - говорит, - тебе телефонограмма очень любопытного содержания.

Я читаю: "Товарищ майор, одна престарелая женщина нынче, в пятницу, пышно празднует свой юбилей.

Появитесь в восемь часов вечера у знакомого вам подъезда с цветами и массой наилучших пожеланий".

- Ну-ка, ну-ка!

- И подпись "Три "н", - говорит мама. - Это что же, фамилия или ученая степень какая?

- Красивая, - говорю невпопад.

- Опять красивая. - Мама уже не улыбается, она бросает на стол телеграмму и ворчит: - Надежда Васильевна тоже видная, по скромная.

- Она уехала, - зачем-то сообщаю давно известное.

- А кто виноват? - ревниво говорит мать и удрученно смотрит на телеграмму, как на мою похоронку.

Навязчивость какая-то в этих словах.

А я ужо в шинели. Я ужо ничего не хочу слышать, багу, бегу.

Дождь со снегом остужает моп щекн.

Итак, я появился у знакомого подъезда.

- Зимы пошли такие слякотные, - говорила Анна, опоздав на целый час. Три круга сделали над Киевом, пока разрешили посадку.

Сегодня она была в темно-синем пальто с латунными пуговицами, на которых крест-накрест выбиты пропеллер и крылья птицы. На рукаве искрилась вышитая парчой чайка.

- А еще задержалась на борту самолета, долго не приходила машина за бельем и посудой. Такова участь всех стюардесс. Привыкайте к этому, товарищ майор.

- Постараюсь привыкнуть.

- А вообще ни к чему привыкать нельзя, иначе пропадет удивление, и все исчезнет, - сказала Анна, не передыхая. - А теперь, - указала она на подъезд, - наш рейс пройдет на высоте четвертого этажа.

Пока мы поднимались по лестпице, я подумал: была всего одна встреча, а не забылась, о чем-то говорят we ее зтзонки. А может, человек сам себе придумывает привязанности? И придумывает не сразу, не мгновенно. Может, просто мое подобие давно возникло в воображении Анны? И вот, простите, явилось. Или в моем возрасте ей увиделась какая-то тайна, а тайна увлекает. Но мы-то, врачи, знаем, что мой возраст - это иногда крутой взлет перед падением.

Я поднимался вслед за Анной. У псе действительно красивые ноги. Катастрофично красивые... Она остановилась перед дверью, обитой черным дерматином, открыла сумочку, достала ключи, долго не могла попасть в замочную скважину.

"Чья это квартира? Куда меня ведут?"

Наконец Анна перешагнула порог.

- Впрыгивайте, - сказала, потянула мепя за рукав и шепотом добавила: Секунду. Постойте здесь, - а сама юркнула в комнату, где горел свет. Я слышал ее голос: - Что же ты, мой родненький? И суп стоит песъеденный, и шпроты не тронуты. Разве соседка не приходила тебя кормить?

- Соседка была, - отвечал дрожащий голос. - Чтото сердце ныло весь день. В Иркутске, передавали, бури.

- Ну и что же? Мы и в бурю летаем. Ты же знаешь, я теперь на "тушке", а это машина! Господи, и подушка сползла.

Анна выглянула из комнаты и поманила меня к себе:

- Это мой папа.

В кровати лежал человек лет пятидесяти. Высокий лоб, лимонной бледности лицо, голову мягко усыпал нетающий иней.

- Иван Васильевич Пронников, - сказали его сухие губы, и

глаза, посаженные так же глубоко, как у Анны, вопросительно остановились на моих погонах с эмблемой медика. Он недовольно сморщился: - Хотя бы в день рождения дочери не приходили вы, благодетели.

Ведь не можете, ничего не можете. - Он замолчал так же внезапно, как начал говорить. Тут же подавленность настроения его сменилась гневом, и он выкрикнул: - А подопытным кроликом быть не желаю. И вообще, оставьте меня.

Его лицо сделалось багровым, голова заметалась на подушке. Лишь так мог он подчеркнуть то, о чем говорил, а его руки, ноги, все большое тело были неподвижны: пх сковал паралич. Конечно, нашего брата он виделперевидел, успел разувериться в искусстве эскулапов, и потому мой приход его раздражал, если не сказать больше.

- Я пришел только поздравить Анну, - защищался я.

Иван Васильевич стрельнул в меня злым взглядом и, медленно поворачивая голову к стене, пробормотал:

- Тогда вы и вовсе никакой не врач.

Анна наклонилась к отцу.

- Папочка, папочка, - защебетала она, - наш гость - нейрохирург, а отец нашего гостя был начальником фронтового госпиталя, погиб, - замялась было, но тут же, повернувшись ко мне, добавила: - Сын, так сказать, продолжает дело отца, правда?

- Но я всего этого вам не рассказывал, - говорю с недоумением.

- "Мне сверху видно все", - шутливо пропела девушка и выбежала нз комнаты. - Я сейчас...

Мы остались одни. Неловкое молчание.

- Где воевал ваш отец? - наконец нарушив паузу, спросил Иван Васильевич.

- В районе Донбасса.

И снова молчание. Я слышу, как тяжело он дышит.

- Вот состояние, - опять заговорил он, - голова соображает, а руки и ноги будто не мои. Все стало.

Кажется, к нам пришла взаимность. Раз жалоба - значит, просьба о помощи. Вечный закон. И точно: Иван Васильевич теперь был не против того, чтобы я его посмотрел. И когда я ему это предложил, заверив, что только из любопытства, он с горечью признался:

- Таких, как я, с койки не поднимают.

Между тем легким покалыванием кожи углом расчески я прошелся по рукам и груди больного и примерно определил степень поражения спинного мозга.

- Короче говоря, согласился ли твой пациент на операцию? -

торопишь ты меня своим вопросом.

Погоди, отец, вы, фронтовики, соприкоснулись с адом, и у вас выработалась жесткость, мешающая подчас разглядеть эмоциональную окраску события.

- Я так и знал, что из тебя получится тупица. Операцию нужно делать немедленно.

Ты хочешь сказать: лучше немедленно. Но Ивана Васильевича лечили.

Ты возмущаешься:

- Еще перед войной "спинальников" подвергали вытяжению с помощью петли Глиссона. Дедовский способ.

Ты это должен знать, майор медицинской службы.

Хочешь сказать, что мы с тобой можем сегодня говорить на равных? Но всякий раз, когда я обращаюсь к тебе, отец, чувствую себя несовершеннолетним, просто мальчишкой. Представляю, как ты отводишь взгляд в сторону и говоришь своим глуховатым баском:

- Мое почтение! В ту снежную зиму я тоже чувствовал себя несовершеннолетним. Перечитай теперь снова мои открытки, и ты все поймешь.

Все твои открытки с фронта мы с мамой сохранили.

Когда в наш поселок пришли немцы, я спрятал их в щели глиняной стены сарая, размытого дождем и потрескавшегося от взрывных волн при бомбежке. Ты никогда но писал писем. Только открытки. С той поры обычные почтовые открытки вызывают во мне особое притягательное чувство: мне кажется, их пишут откровенные люди, опи ни от кого не прячут своих мыслей. А может, еще и потому, что твои открытки были непривычными для глаза: сперва обычные строчки, а потом - еще поперек написанного текста, получалось крест-накрест.

Ты хотел больше сказать. Но как бы то ни было, теперь, спустя тридцать лет, твои открытки кажутся донельзя скупыми. "С большими трудностями пробиваемся в Ворошнловград..." И сейчас я расшифровываю их как степограммы. Столпотворение поездов. Теплушки с воинскими частями, платформы с пушками и танками. Эшелоны эвакуированных. И, просачиваясь между ними, мпнуя запретные для других флажки регулировщиков, движется твой полевой госпиталь - всего на двести коек.

А мой вагон, мой уютный дом на колесах, сегодня спокойно бежит по мирной земле.

- Северное сияние, - слышу я вдруг.

Я оборачиваюсь и вижу рядом усача. Он приблизился к окну, раздвинул шторки:

- Сейчас начнется, как по графику, - посмотрел на часы. - Да

вот уже оно.

Сперва мне виделись какие-то далекие сполохи, и казалось, это отражаются в облаках огни города, мимо которого мы проезжаем. Теперь все выше ы шире разливалось огромное зарево, и трудно было определить источник этого света, охватившего все небо. Оно и в самом деле не отличается от северного сияния своим гигантским размахом, только разве цвет иной: малиновый.

- Северное сияние!

Это уже сказала девочка. Она стояла у соседнего окна, хлопала в ладоши в такт стуку колес. И все, кто еще не успел уснуть, вышли из своих купе и дружной цепочкой рассыпались по вагону. К усачу подошел молодой напарник.

- Когда там находишься, - усач ткнул пальцем в окно, - не замечаешь этой красотищи, правда?

- Да, Евсеич, - согласился парень. И уже мне: - Выливают металл и шлак из доменной печи. И все дела.

- Ишь ты, все дела! - Евсеич будто невзначай толкнул меня локтем. - А по мне, как раз вот с этой красоты начинается рабочий класс. Вот в конце вагона, видишь, стоит хлопец. Подойди и скажи ему: "Это выливают металл на платформы" - он тебя не поймет. А скажи: "Вот так работают у нас s Донбассе, что всему миру видать", его потянет туда.

- Ну, Евсеич, - подначивал парень.

А Евсеич уже изрядно подзавелся:

- Про это тебе толковали и в ЦК.

Парень затянулся сигаретой, отчего он стал вроде взрослее, чем показался мне вначале.

- Еще толковали про план, про рубли, - сказал он, помолчав.

- Поговори с ним, - снова взывал ко мне Евсеич. - Ну я ему сейчас кое-что растолкую. - И с этими словами усач шагнул в купе, куда, махнув рукой, ушел уже и парень в вязаном белом свитере.

Одни везут из столицы всякий импорт, а эти - свои наболевшие дела, которые всегда у них не решены.

И, как дети, любуются заревом, ими же созданным.

А в твоих глазах застыло зарево пожарищ, зарево кровопролития. И твоя военная бессонница передалась мне. Я слышу, как гудят немецкие бомбардировщики, нагло снижаясь над колонной твоих госпитальных машин, слышу свист снарядов над твоей головой. Спасая других, ты ежесекундно рисковал сам. И это была твоя вершина, на которую ты начал взбираться еще в тридцатые годы, когда морил в своих галошах, подвязанных бинтами, раскисшие дороги глубинок. Это была твоя зрелость.

- Мое почтение! Заладил: зрелость, вершина... Именно там, в полевом госпитале, я почувствовал себя мальчишкой. Нет, еще раньше, в Харькове, где мы разместились в какой-то школе. Там я ассистировал профессору Горбачеву, обликом похожему на Пирогова. Помнишь, на моем столе портрет Николая Ивановича? Великий хирург запечатлен на севастопольских бастионах. Коренастый, в солдатской шинели, с непокрытой головой. Лицо, окаймленное сплошной повязкой бакенбард. Горбачев знал о своем сходстве с Пироговым и гордился этим.

А его руки! О, это были руки музыканта-виртуоза. В их движениях были заложены тысячи ритмов, они возникали каждый раз по-новому в зависимости от того, что диктовало операционное поле. Руки нашего Пирогова, и рядом мои - руки обыкновенного врача. Как они старались попасть в такт профессорским.

И попадали! Я точно зпаю, отец, что попадали. И тебе хотелось вылепить из гипса, высечь на камне ваши четыре руки.

- Не приписывай мне лирики. Прошли те времена, когда за исцеление, как за чудо, платили курипей. В ту снежную зиму я действительно чувствовал себя слишком беспомощпьгм. Я питал столько надежд, строил такие иллюзии...

Ах, вот ты о чем?! О спинальных больных. Что ж, давай, пока есть еще время до рассвета, потолкуем наконец как врач с врачом. В одной из твоих довоенных открыток, адресованных маме из Харькова, где ты заканчивал курсы усовершенствования, я прочитал: "Понимаешь, больных с поврежденным спинным мозгом не так уж много. Это рабочие, получившие удар чем-то тяжелым по спине, лихие ныряльщики, врезавшиеся теменем в донья мелких речушек, всадники, падавшие с лошадей.

И пусть таких больных в пашей районной больнице за год можно пересчитать по пальцам одной руки, меня повергает в бешенство от собственного бессилия перед непоправимым: все они навсегда обречены..."

В тот вечер, вернувшись от Пронниковых, я снова перечитал твои открытки, твоп отчаянные послания из далекого 1941 года. Они хранятся в нашем семейном альбоме вперемежку с фотографиями. Вот вы с мамон на курорте в Одессе, ты в черном костюме с длинными лацканами, на маме узкополая шляпка. А вот и я, в детском автомобиле, в фуражке с лентой "Герой". Наконец твоя открытка: "Сегодня я назначен старшим ординатором полевого подвижного госпиталя. Представь себе прифронтовую полосу. В этой огненной кутерьме, когда в любой момент жди приказа об эвакуации, когда со стороны и сверху сьшлет разъяренным металлом, все яснее видишь: хирургия

опирается только на реальные возможности человека. И никаких песнопений о чудесах. Просто человек, по норме, должен жить двести лет. И мы, врачи, обязаны помнить это всегда, а особенно в бою".

А вот и твой дневник, где на уголке первой страницы, как приказ: "Сыну, когда вырастет". Обыкновенная тетрадь с таким романтическим названием "Бортовой журнал фронтовой академии". Тридцать лет назад, когда все это случилось, его прислала нам Вера Полищук, медсестра местной больницы. Почему именно она? Почему не кто-нибудь из санитаров или врачей? Впрочем, какие врачи... Одной бомбой сразу восьмерых... Бомба прямо в операционную... Так писала Вера. Встречу ли я ее? Живет ли она в тех местах поныне?

Стучат колеса. Завывает за окнами ветер. Скорее!

Но в ту ночь, когда я вернулся от Пронниковых, было главное расшифровать твой дневник.

"Наша операционная оборудована в крестьянскои хате. У солдата есть хоть окоп для укрытия, а у нас, медиков, одна надежда, что снаряд не угодит в избу, где идет операция. В ее камышовую крышу воткнут ветрячок. Под ветром шелестит он своими острыми крылышками, знать, отструганными рукой какого-то мальца-умельца. Только я не слышу его. Все гудят и гудят самолеты, а потом раздается свист бомб..."

"Доставили лейтенанта Ивана Федорова. Ранение в шею. Голубоглазый паренек не потерял сознания, внятно рассказывает, как пуля задела его в тот момент, когда он встал на бруствер окопа со словами: "Взвод, вперед!"

Только, говорит, "вперед" не успел крикнуть. Но ничего, ребята пошли дружно, без страху. У меня, говорит, заместитель сержант Мамедов, надежный солдат. "Помолчи, помолчи, голубчик", - говорю я, а сам под местной анестезией делаю разрез коней для достаточного доступа к позвоночнику. Наконец иссек края раны..."

И еще запись: "Меня позвали к нему через четыре часа после операции. Какой сильный парень! Вы, говорит, доктор, с этой царапиной меня долго здесь не держите. Только вот ноги мне полечите и руки тоже, а то они вроде из ваты, занемели. Ясное дело, пешком километров сто отмахали перед атакой. "Конечно, голубчик, ноги устали", - глядя в голубые глаза Вани Федорова, говорю я. Не мог же я, в самом деле, сказать ему, что в результате смещения позвонков его спинной мозг сдавлен и он никогда уже не сможет встать, не сможет ощутить босыми ступнями щекочущий холодок росы, жгучий зной песка на реке, никогда не обнимет любимую. Спинной мозг, это древо жизни, перестал

управлять его могучим телом... Но я все-таки решился... В какой раз..."

Идут, идут твои фронтовые записи.

"Ваня Федоров требует: "Я, доктор, из Орла и сам орлом родился, так что лечите ноги. Мне еще этими ногами знаете сколько топать? Завтра остановим фрица - и на Берлин. Понятно, доктор?" - "Только так", - оказал я, а сам подумал: "У тебя, голубчик, начинается восходящий отек мозга, неумолимо ведущий к остановке дыхания и сердца..."

"...Прибежал начштаба. Я - начальник госпиталя.

Вручил автомат. Не исключено, что и нам, врачам, придется вступить в рукопашный бой..."

"...А Ваня Федоров задыхается. Губами припадаю к его рту. Дышу рот в рот. Чувствую, как, словно пустой баллон, наполняется грудь лейтенанта воздухом. Чертовски быстро вымывается из собственных легких кислород.

Темнеет в глазах. Обучил этому способу оживления санитаров, привлек медсестер местной больницы. Дышим по очереди. Мне нужно выиграть хотя бы сутки. И Ваня будет спасен..."

Так, отсчитывая роковые минуты юного лейтенанта, понимая, что в любой момент может истощиться их скудный запас, стремясь отнять у смерти хоть одну минуту жизни, ты сквозь расстояния взывал ко мне:

- Feci quod potui, feciant meliora potentas... [Сделал что мог, и пусть, кто может, сделает лучше (латин.).] Тогда еще не было аппарата искусственного дыхания.

- Теперь он есть у тебя!

Да, конечно. Тогда, в годы войны, не было в помине и реанимации, такой, которая способна обеспечить физиологические функции организма на длительное время.

Но ты надеялся, предугадывал, фантазировал: ведь чтото должно быть. Через десять, через тридцать лет, но должно быть. Это была твоя диссертация, которую ты продолжал писать в своем последнем бою. Она обгоняла время. И значит, хирургия все-таки берет начало в бурном потоке мечты. Когда расчеты чувств и навыков становятся реальными возможностями человека, она превращается в чудеса. И ты спас юного лейтенанта! Спас! Как же еще читать твое: "сделал что мог..."

- О, я тебя понимаю, - слышится мне твои голос. - У тебя такой возраст, когда воедино сливаются эмоции и разум. Но, видимо, полной гармонии еще нет.

И на рубеже этого стыка ты почувствовал себя мальчишкой, каким когда-то показался себе и я. А ну, дружище, выкладывай

все как на духу. Только мне жаль тебя: дорога еще длинная, а ты и не вздремнул за всю ночь.

Уже светает. Сонная проводница торопится к выходу.

За окнами простиралась равнина, пересеченная то там, то тут редкими посадками. Снежинки давно не вьются, словно на рассвете их тоже свернуло в сон. Уголек за окном. Уголек в воздухе. А знаешь, у него приятный запах, я привыкаю к нему. Правда, Анна сказала бы:

"Нельзя ни к чему привыкать, иначе исчезнет удивление..." А сам воздух красный. В его воспаленном свете вдалеке выписываются очертания металлических конструкций.

- Вставай, вставай, - слышу, командует Евсеич товарищу, - скоро выходить.

За внушительный солидный вид этого усача я окрестил еще с вечера "начальством". И теперь его властное "вставай" убедило, что я был прав.

- Скоро Ворошиловград? - спрашиваю.

Евсеич глянул на меня с откровенной обидой:

- Давно в этих местах были?

- В детстве, - отвечаю.

- Ну, - протянул он, - тогда вам придется трудно.

Ничего вы тут теперь не узнаете. После войны, - он кивнул в окно, - это другой Донбасс.

- Воевали тут? - спросил я.

Он улыбнулся:

- Усы подводят, лет десять набавляют, не меньше.

Но мне это нужно для солидности. А свои края должен знать. Профессия такая.

- Понятно, - сказал я. - Вы журналист.

- Я социолог, - сказал Евсеич, - на производстве, понимаете? - Я понятливо кивнул, но Евсеича это почему-то не устроило. - Ну вот скажите, кто виноват в том, что вы не открываете дверь?

- Я, разумеется, - простодушно говорю.

- Нет, я. Ведь это я пе постучал к вам.

А вот теперь я не все понимал.

- Ну, как в нашем деле, - говорит Евсеич. - Так повелось, рабочего человека считали кондовым, груоым.

А ведь он стал другим. Он стал тонким, понимаете. Раньше говорили, работяга без мата что документ без печати.

А теперь сами рабочие пишут жалобы: пе хотим больше слышать брань на заводе. Или такую картину взять. Мастер, фигура, да? Но одному он по душе, другому поперек горла. Почему? Что там за климат он установил в бригаде? Вот я и составляю анкеты, вопросники, словом, занимаюсь тонкостями. С

ним мучаюсь. - И, обернувшись назад, Евсеич добавил: - Ты уже собрался?

Его товарищ, парепь в белом свитере, уже собрался и с портфелем в руке стоял за нашими спинами, глядя в окно, ставшее теперь белесым от нахлынувших облаков пз дыма и пара, низко висевших над землей. Сквозь них проступали громады доменных печей, черные силуэты мартеновских труб.

- Может, во сне что придумал? - надевая пальто, торопливо спросил Евсеич паренька, продолжая какой-то их вчерашний разговор.

- Так, так, придумал, - слышался ответ, - пока будем делать, как решили.

- Ну гляди, с тебя спрос, ты директор завода.

Вот тебе и парень...

Поезд, вздрогнув, сбавляет скорость. Мелькнул разъезд. Перед нами возникли размытые туманом частые огни. Чувствовалось приближение большого города.

- Наш Коммунарск, - сказал мне на прощанье социолог. - Про него знают в Индии, Венгрии, Болгарии.

Приезжайте, и вы узнаете.

Подмигнул и вслед за директором подался к выходу.

Если бы мне дали анкету, где спрашивалось мое мнение о нем, я бы написал: "Пришелся по душе".

Теперь я в купе один. И вроде поубавилось уюта. Этот уют, оказывается, был создан вовсе не чистым убранством полок, а брошенными на них портфелями, наспех придуманным ужином, простыми словами моих попутчиков.

И снова вагон швыряет из стороны в сторону, и остаются позади узловые станции нашей жизни, и снова я возвращаюсь в твое прошлое. "Feci guod potui, feciant meHora potentas", - выстукивают от перегона к перегону торопливые колеса. И спрашивают: кто может сделать больше? Спрашивают их, сошедших в Коммунарске.

И спрашивают меня. Ваня Федоров, двадцатидвухлетний лейтенант, поднимавший в атаку свой взвод! Это и он спрашивает меня сегодня. И спрашивает Пронников.

Спрашивает даже тем, что разуверился, ослабел. Спрашивает Анна.

Но странно: помню, мы идем с ней по Крещатику, и Анна как ни в чем не бывало с любопытством разглядывает витрины, улыбается манекенам, застывшим в неоновом свете: "Привет, подруги".

- Вы всегда такая?

Анна замедлила шаг:

- Пусть слезу пускают те, кто хорошо устроен, кому делать нечего, таких легко сшибают с ног невзгоды. А я дочь обыкновенного солдата.

- Бросьте, - я продолжал злиться, - ваш отец - солдат необыкновенный. Кандидат военных наук, преподаватель высшего училища, полковник...

- Секунду, - тонко пропела Анна, когда мы оказались напротив оперной студии. - Мой папа не был таким знаменитым, когда я родилась. А родилась я знаете в каких комфортабельных условиях? От гарнизона до города была дорога, по которой могли пройти только танки.

Когда маму отправляли в роддом, была такая распутица, даже танк застрял. А я человек нетерпеливый, решила не ждать. И родилась в танке, понятно? Словом, из своих двадцати пяти лет немалый кусочек я отдала глуши, роскошно пожила среди медведей. - Энергичным поворотом головы она откинула волосы со лба. - Теперь мой словарный запас в сорок слов истощился, и вы можете высказаться.

- Что с папой будем делать, Анна? - говорю я уже примирительно.

- Да будет вам известно, доктор, что я оббила пороги домов всех киевских светил. И все разводили руками. По-моему, люди не любят больных и слабых. А ваша профессиональная осторожность?! Она массивное старых корпусов госпиталя. Пока я пыталась их пробить, преотлично изучила сюда дорогу, вымощенную из таких словечек, как "завтра", "посмотрим"... Но я счастлива, что на этой дороге встретила вас.

- Анна!

- Да, да, Анна. Три "н" не забудьте. - "Издевается". Достает из сумки платочек: - Зимы такие слякотные. Надоело, - Анна остановилась: - Обратили внимание на макет танка? Ну, который на серванте у нас дома? Видели колесики, гусеницы?.. Как всамделишный.

Это папа сделал в мою честь, тогда, к моему появлению на свет. Сделал своими руками.

Я перехватываю взгляд девушки, вижу ее колючие глаза, высвеченные вечерним неоновым светом: они плачут. Глаза Анны. Представляешь, отец?

- Мое почтение! Так это не ты, Анна спрашивала тебя, "что будем делать?". Она взывала к надежде. С этой надеждой в ее сознании слилось имя ее отца. Насколько я понял, у нее больше никого?

Больше у Анны никого нет. Это была обыкновенная офицерская семья. В первые годы после войны служил капитан

Пронников в Сибири. Долгая его холостяцкая жизнь оборвалась лишь тогда, когда он попал в Читу.

Там, в библиотеке Дома офицеров, встретилась ему девушка. Какой опа была? "Анну видите? - шептал Пронпиков. - Копия. Ничего моего тут нет". Потом судьба забросила на Дальний Восток. "Где Чита - там черта, за чертой - ни черта", - как-то записала в своем дневнике Анна, восьмиклассница, за что ей досталось на орехп, и, конечно, от Ивана Васильевича. А гарнизон был как гарнизон. Отдаленный на сто верст от железной дороги, он напоминал пасеку, расположенную в кругу поросших низким орешником сопок. Дальневосточная тайга хранила тайну дел, что с утра до вечера и вороньими ночами под крышей крупных, ярких звезд совершали солдаты этого таежного гарнизона. Лишь орудийный гром будил буреломы так, что с хвойных веток срывались кедровые шишки. Шишки сыпались всюду. Даже у самого дома их бьшо видимо-невидимо. А когда наступало время брусники, мама брала девочку за руку, и они отправлялись с корзинками далеко-далеко. И там, далеко-далеко, слушали рокот двигателей, эхом перекатывающийся гусеничный лязг. Мама сбавляла шаг, поднималась на холмик пли замшелую возвышенность и замирала, словно у ггее в эти минуты останавливалось сердце. Потом они жили в Москве. Иван Васильевич учился в бронетанковой академии и появлялся в компате, которую они снимали в Рублеве, раз в неделю, по воскресеньям. И это было особенное время. "Москва - это сразу сто городов", - вспоминает Анна. Сто городов. Сегодня - кружевная архитектура храма Василия Блаженного, завтра - двадцать шестой, подземный этаж Библиотеки имени В.И.Ленина, потом - бездонный мир Третьяковки, наконец, - случайный рассказ прохожего-москвича о том, как по улице Горького с помощью какой-то загадочной силы были передвинуты дома-гиганты. Все останавливало, все удивляло. Но есть у Анны главное открытие Москвы, ее Москвы. Она считает: это самый зеленый город на свете. И когда я удивленно закусываю губу, Анна говорит: "Секунду" - и начинает зажимать тонкие пальцы:

- Рублево - раз. Парк вокруг дворца Шереметева - два. Серебряный бор три. Только этого хватило бы для любого города, а Москва - сразу сто городов.

Понятно?

Я говорю "понятно" и зачем-то спрашиваю:

- Хотелось бы жить в Москве?

- Что вы?! - не раздумывая, возражает девушка. - Там слишком много умных людей, вращаться трудно.

Ах, эта Анна с тремя "н"! Я беру ее за руку.

- Не надо, - просит она. - У меня пальцы шершавые.

Это от посуды, от стирки. Из Москвы на Украину они с отцом приехали одни. Анна стала хозяйкой дома. Мама навсегда осталась в Москве.

- Слышали институт Склифосовского?

- Слышал, - говорю я.

- Вот там.

Пронников не помышлял о новой женитьбе. С Анной не соскучишься, как он признавался, гордо улыбаясь.

Решил ждать внуков. Пора уж, пора. Только вот Анна что-то не торопится с выбором. А торопить события Пронников не умел.

Я провожаю Анну в очередной рейс. В Борисполе ветрено, кажется, этим плотным воздушным потоком отполированы корпуса самолетов. Они взлетают чаще, чем об этом успевает объявить диктор. Во всяком случае, такое впечатление.

Сейчас Анна войдет в салон и скажет: "Командир корабля и экипаж рады приветствовать вас, уважаемые пассажиры, на борту самолета Ту-104, который выполняет рейс по маршруту Киев - Москва. Сразу после взлета мы покинем пределы Киевской области и будем пролетать над Черниговщиной. С правой стороны по ходу самолета на берегу зачарованной Десны раскинется поселок Сосница, родина замечательного кинодраматурга и режиссера Александра Довженко. Дальше мы будем пролетать над Брянскими лесами. В годы войны здесь зародилось партизанское движение под командованием Ковпака, Сабурова, Федорова..."

Анна тараторит заученный текст взахлеб, не останавливаясь.

- Ну, как у меня голос? - спрашивает.

- Теплый, - говорю.

- Слава богу. И где вы были раньше? - Замялась, деланно кашлянула. - В школе меня увлекал драмкружок, но мой голос отпугивал руководителей. Представьте мою личную драму: мои подруги играли Снегурочек, Золушек, настоящие женские роли доставались людям.

А мне дали единственную рольку, и то Мухи. У меня голос такой "ж-ж-ж"...

Не о том мы сейчас говорим. Не о том. И когда там, на высоте десяти тысяч метров, зазвучит ее голос, я пожалею, что не сказал чего-то крайне важного. И так захочется услышать это самое "ж-ж-ж"... А пока, эти последние минуты, она на земле, рядом со мной, такая близкая, такая родная.

- Цветы. - Я открываю портфель, протягиваю гвоздики.

- Нарушаете форму, товарищ майор. - Она старательно застегивает мою шинель на верхнюю пуговицу. - И не шепчите

стихов на прощанье.

- А разве я шепчу?

- Но вы на пути к этому. - Она щелкает замком сумки, протягивает мне ключи. - Это от моей квартиры. - Не успеваю опомниться, как Анна добавляет: - Надеюсь, пока я прилечу, мой папа будет у вас в госпитале.

- Счастливо, - говорю я, и мой растерянный голос

заглушает нарастающий гул двигателей.

Возвращаюсь из аэропорта и среди всех шумов и говоров узнаю твою речь, отец:

- Любишь?

Люблю.

- Что с ключами будешь делать?

Не знаю. Пока не знаю.

- Перестраховка - это равнодушие обывателя.

Ну зачем же так? Проблема, над которой задумывался ты, сегодня, в век грохочущей техники, стала моей вдвойне. Обыватель же думает иначе, он философски утверждает, что на каждом этапе цивилизации кто-то, решая проблемы, заходил в глухие дебри. А он не заходил, для него всегда все было ясно.

И я представляю, как при этом ты отводишь меня в сторонку и, теребя на груди портупею, говоришь с упреком:

- Демагогия всегда была впереди.

Но пойми, в данном случае есть основания для раздумий.

- Что ж, давай раздумывать. В таких случаях начинают издалека.

Что ж, давай издалека, если это поможет делу.

- Заново проходят свой путь затем, чтобы найти ошибки. Итак, ты родился. Между прочим, не в хоромах, а в амбулатории, в комнате, отгороженной от моих посетителей фанерной стенкой. И свой первый шаг ты сделал там же, малыш. Я помню, ты потянулся, побежал к блестящей коробочке для шприцев, с которой к нам с мамой как-то пошла медсестра. А я жил и радовался нашему жилью. Радовался и тому, как, защищенный мною от ударов судьбы, ты естественно приобщаешься к моему любимому делу, к медицине. Вот, вспоминаю, тебе семь лет. У Вовки Чередниченко - бедный мальчик, как же он так нелепо погиб - был приступ аппендицита. Я оперировал его. А когда вышел из отделения, увидел: ты сидишь на ступеньках и плачешь. Конечно, я напомнил тебе, что ты не девчонка, зря, мол, распустил шопи, а сам подумал: чужая беда становится твоей, значит, ты способен ее победить, значит, сможешь стоять у колыбели человеческой жизни от рождения до смерти. Как-то я тебе рассказал, что у каждого человека столько сосудов, что, если

их вытянуть в одну линию, можно два с половиной раза обмотать нашу землю. "Так человек велик?" - спросил ты по-взрослому. "Так человек велик", - ответил я.

"У каждого человека столько?" - не унимался ты.

"У каждого человека столько". - "Значит, каждый человек велик?" "Каждый велик!" - "А если мои сосуды вытянуть в одну линию?" - допытывался ты. "Если твои, будет немного меньше, ведь ты еще маленький..."

Прости, отец, по зачем все это ты ворошишь в памяти именно сейчас?

- Да вот хочу тебя спросить: уж не ради ли диплома поступил ты в институт?

Ради диплома? Чем же это я так тебя прогневил? Ты знаешь о моем детстве. А что было потом, без тебя, знаешь? Были вступительные экзамены, было счастье оттого, что удалось прыгнуть выше проходного балла. Зачем-то меня вызвали в приемную комиссию. Крутили, смотрели со всех сторон. "Да он же светится насквозь", - говорил какой-то очкарик. Мне казалось тогда, яповис на волоске, по причине отчетливо расходящихся от позвоночника ребер. Но какими-то другими качествами все же приглянулся я члену комиссии, которого все учтиво называли Михаил Сергеевич. "Будет получать стипендию, вся эта прелесть исчезнет". И знаешь, он ничуть не издевался, называя мои ребра прелестью. Михаил Сергеевич оказался профессором Спировым, читавшим нам курс анатомии. Когда он описывал кость, казалось, старик поет чудесную песню. Это от него мы узнали, что первая лекция по анатомии была прочитана профессором Вальтером 9 сентября 1841 года самым первым двадцати двум киевским студентам-медикам, из которых только трое были выпущены в звании лекарей. Ты меня слушаешь, отец?

Только трое! И замирала наша аудитория, и каждый ощущал ползущий по спине холодок, и каждый ютов был расшибиться, но войти в число лекарей, если при выпуске оно сократится даже до одного. Над конспектами лекций Спирова мы просиживали целыми днями. Уйдем на Владимирскую горку (там находилось наше общежитие) и сидим, шепчем в кустах, как в засаде, не замечая, что дневной свет уже сменяется вечерними городскими огнями. А утром - в анатомический театр. Однажды меня туда не пустили, посчитали за чужого, за малолетку, - а все из-за моих ребер, будь они неладны. И тут снова выручил Михаил Сергеевич. "Знаете, юноша, научитесь жарить картошку на рыбьем жире. В любой аптеке имеется. Я лично пользуюсь, п, знаете, ничего..." Тогда наши девочки угаром паленого рыбьего жира пропитывали насквозь стены общежития. Я уже получал повышенную имени

академика Богомольца стипендию. А тут еще появились такие ужины, совсем райская жизнь. Но самое главное, я сохранил, не понес на базар твой синий пиджак из шевиота. Ведь его так бережно хранила мама, пока я вырасту.

Постепенно отстраивался, вставал из груды щебня Крещатик, зазеленел Киев, стирались следы послевоенной разрухи. И сейчас... Если бы сейчас на меня, шагающего по городу, указали пальцем и сказали, что этот врач кончил институт благодаря рыбьему жиру, никто не посмотрел бы в мою сторону, посчитав сказанное враньем.

- Ну хорошо, - снова я слышу твой басовитый голос. - Если ты такой дорогой ценой заплатил за диплом врача, откуда у тебя неповоротливость, осторожность, робость? У тебя бестеневые лампы, у меня были светильниками гильзы от снарядов, у тебя аппаратура и совершенный инструментарий, у меня были, попросту говоря, топор и зубило. Но я что-то пытался сделать.

Я всего-навсего рядовой врач, пойми.

- Значит, ты можешь все! Твои предшественники спасли тысячи жизней тем, кто пе успел бы дорисовать картину, закончить книгу, завершить конструкцию новой машины. И ты, врач, живешь этими чужими, пе принадлежащими твоей персоне открытиями, ты живешь дыханием подвига солдата, у которого твое бескорыстное искусство воскрешать все живое отнимает страх и робость.

Ты живешь жизнью других, и другой жизни тебе пе даровано... Лежит прикованный к постели человек, обреченный на медленную смерть. Бьется над ним твоя любимая девушка. А ты медлишь... Мы выбрали с тобой, коллега, одну жизнь, а жизнь - это непрерывная связь, начатая одним человеком и продолженная другим. Действуй же!

Еще одна бессонная ночь.

Утром, как всегда, ко мне подходит Женя:

- Сколько у нас сегодня операций?

Женя Ангел - анестезиолог. Чернобровый украинец - добрая душа, когда-то мечтавший о журналистике.

- Женя, ты мне нужен во как! - говорю.

- Что стряслось?

Рассказываю о Пронникове, об Анне.

- Добрый случай, - Женя хрустит пальцами.

- Сложный случай, - поправляю друга. - А мы с тобой забросили наше производство.

Теперь Женя все понял. Вечером мы обязательно пойдем в автороту. Там нам отвели уголок для занятии.

А трудимся мы с Женей пад изобретением ретрактора.

Это соединенные по типу ножниц прутья с крючками и завитками на концах. Ретрактор продолжит руки хирурга. С его помощью во время операции можно будет перемещать позвонки в разных направлениях, а значит, ставить их на свои места и освобождать от ущемления сдавленный мозг.

А завтра - самое главное: встреча с полковником Якубчиком.

Вхожу в кабинет. Над столом склонился Деня Ангел, что-то чертит, рядом с ним уселась Ниночка, наша медсестра, с длинными ресницами и темным пушком над губой, которую она прикрывала длинным указательным пальцем, когда терялась.

- Шефа нет? - спрашиваю.

- Шефа нет, - отвечают оба, как сговорившись, а сами не могут оторваться от листа бумаги.

Подошел к своему столу. В пепельнице опять гвоздики. Это работа Ниночки, она кладет их сюда, чтобы я меньше курил. Кто ей все время дарит эти роскошные гвоздики?!

- Над чем колдуете, ученые люди?

Длинным пальцем Ниночка сорвала с полированной поверхности лист бумаги и, как рентгепоснимком, пошелестела им перед моими глазами:

- Видите, обыкновенный листок бумаги. На нем нарисован круг. Видите? Нужно в любом направлении, в любом месте провести прямую.

- Где? - недоумеваю я.

- Где хотите, - пищит Ниночка.

- Тут можно?

- Ты не спрашивай, проводи, - хитро улыбается Ангел, отойдя от стола и меряя туда-сюда ординаторскую заметно кривыми ногами.

- И что будет? - спрашиваю.

- Будет установлена стопень оригинальности вашего мышления. Это научный тест, - объясняет с ноткой таинственности Ниночка.

- Коварная задача, - говорю я и провожу линию, как взбрело в голову.

Затем это же самое сделала Ниночка. Ангел взял лист, изучающе повертел его и объявил приговор; я, оказывается, обладаю умом, стремящимся выйти за рамки стандартного мышления, так как провел линию вблизи круга.

Ниночка же провела линию глядите где! На обратной стороне листа. И значит, согласно задуманному условию, ее ум самый оригинальный...

Ниночка звонко хохочет, Ангел азартно рукоплещет.

И в этот момент в кабинет входит полковник Якубчик.

Он, конечно, но понимает причины веселья, неловко осматривает себя и, убедившись в непогрешимости своего внешнего вида, усталым шагом направляется к умывальнику.

- Что скажете, Ниночка? - Под плеск воды голос шефа кажется раздраженным.

- Павел Федотович, - девушка, робея, прижала указательный палец к верхней губе, - там жена отставного генерала...

- Генерала Иванова. Знаю, - сбрызгивая воду с ладоней, обрывает Ниночку начальник отделения. - Так что?

- Ему была сделана трепанация, - объясняет Ниночка, - естественно, он не обедал...

- Когда проснется, покормите. Неужели даже этому нужно учить?

- Павел Федотович, но жена требует выдать ей обед мужа.

- Ну, знаете, - Якубчик стегнул полотенцем воздух, с удивлением и даже, как мне показалось, со страхом оглядел всех нас: - Сколько работаю, но такого... - Павел Федотович брезгливо сморщился, полез в карман и, подавая медсестре рубль, властно крикнул: - Таким женам выдаем сухим пайком. Так и передайте. Честь имею.

Ниночка выпорхнула за дверь. Шеф был на взводе.

Но все мы знаем, он отходчивый, податливый. И потому я решаюсь задержать его:

- Поговорить надо, Павел Федотович.

Якубчик не спеша тянется в нижний ящик стола, достает термос, стакан, ложечку с заваркой.

- Жениться, слышал, задумал? Где-то ты прав, что только теперь... А что хорошего в моей ранней женитьбе?

Вот я. Ранний дедушка, ранние внуки. Покоя хочется.

А с этими воробьями-мальцами газету не почитаешь, не вздремнешь, когда хочется, хотя я их, конечно, люблю.

Они ведь мне молодость возвращают.

Павел Федотовпч громко, со смаком отхлебывает чай.

Этой процедуры обычно почему-то не выносит Ангел.

Вот он и сейчас поковылял из кабинета.

Он отличный хирург, Павел Федотович. Острый взгляд, чутье. На это я и рассчитывал, когда шел к нему за разрешением взять Пронникова в отделение.

- Пронников... Пронников... Вспомнил. Я знаю эту историю, - постукивая пальцем по столу, устало говорит Павел Федотович. - Так ты о чем хотел поговорить?

- Об этом.

- Ну, мил человек, тут все ясно: дело бесперспективное, скажу тебе. Была тут у меня дочка Проппикова, кокетка такая,

юмористка.

Я подумал: а если ее юмор указывает на несгибаемость характера: не ждал человек беды, а пришла она - остался самим собой? Но вслух говорю:

- Это вы, Павел Федотович, по внешнему облику дочери поставили диагноз ее отцу?

Павел Федотович снял и положил перед собой белый чепец:

- Я просто хотел сказать, что знаю об этом случае.

Как же... слетел с обрыва вниз головой... Из такого состояния не выскакивают. И все-таки с этим скоропостижно не умирают.

- Но с этим и не живут, - перебил я полковника, - а человек, по норме, должен жить двести лет.

У Якубчика дернулась щека:

- Вот я весной уволюсь, и ты будешь здесь в отделении устанавливать свои нормы. Понял? - Он спрятал термос в стол, отошел к умывальнику, ополоснул стакан. - Почему от Пронникова отказалась профессура?

Я отвечаю, стараясь быть убедительным:

- В каждом конкретном случае свои особенности, их могли не увидеть.

- Что, что ты имеешь в виду? Анализы, пункция, рентген? Аппаратура скажет и в рот положит? Так?

- А еще, Павел Федотович, личный контакт врача с больным, его внимание, чуткость, даже обаяние. Не лететь же в тартарары всему тому, что было достигнуто веками?

Якубчик вскакивает со стула, словно катапультированный:

- За вечность ответственности не несу. Я привык браться за дело, которое умещается у меня на ладонях, чтобы и взвесить можно, и пощупать.

Павел Федотович кипит, размахивает руками. Сказать ему об Анне? О Пронникове-педагоге, лекциями которого интересуются даже в Генеральном штабе? Впрочем, мою личную участливость к судьбе этой семьи лучше всего подтверждает снимок, правда, трехмесячной давности, сделанный в районной больнице, куда сразу попал Иван Васильевич.

- Вот, - говорю я, - на рентгенограмме отчетливо виден переломо-вывих пятого шейного позвонка.

Этого как будто и ждал полковник Якубчик:

- А что, что это значит? Что это значит, я тебя спрашиваю? - И его лысина краснеет от напряжений и покрывается испариной. - Это значит, милый мой, к позвоночнику необходим двойной доступ, передний и задний. - При этом Якубчик провел ребром ладони по грудине, потом по спине, вышло неуклюже, по стало понятно, что человек должен быть рассечен как бы насквозь. - Да

это же две операции одновременно, понимаешь?

- Понимаю, две операции одновременно, - повторяю псе таким же обычным тоном. - Одпа за счет мастерства хирурга, другая - за счет его личного обаяния.

- Что?

Давно не оперировал Павел Федотович. Давно. С той поры, как подстерегла его неудача. Она осталась в тиши его кабинета, но его опыт, умение, острый взгляд теперь спотыкались на чувстве страха, который он прятал за административной суетой.

О, как ты мне помог, отец, в эту минуту! В минуту отчаяния, которую я скрывал даже от самого себя, ты незримо встал рядом с мной, как в бою, где близкая победа могла обернуться поражением. Я положил на стол твой "Бортовой журнал фронтовой академии". Ты рассказывал в нем о Ване Федорове.

- Тридцать лет хранишь! Ничего себе, - восторгается Павел Федотович, вглядываясь в строчки, поблекшие от времени. Лицо его на мгновение озарилось, но тут же потухло, он неловко зашептал: - Понимаешь, как бы тебе объяснить... Конечно, отец для тебя самый авторитетный человек... Но все-таки я еще не списан, я пока решаю. Брать в отделение Пронникова? Я не вижу смысла в этом.

- Но вы все-таки почитайте дневник!

- Прочту еще, - уклончиво выдыхает Павел Федотович. - Но видишь, то одно, то другое валится на голову. Звонил, кстати, начальник госпиталя, напоминал об уборке территории. Твоя забота, проследи лично.

- Слушаюсь, - говорю покорно.

- И вообще у меня трехдневные сборы, - жалуясь, ворчит Якубчик; одеваясь, оп долго не может попасть в рукав шинели, а когда облачился с моей помощью, многозначительно, тоном приказа подытожил наш разговор: Ну, мы, кажется, все решили. Честь имею.

Тихо в ординаторской.

- Ах, так! - снова врывается твой возмущенный голос, отец, твоя необузданная неуспокоенность. - Значит, против?

Как видишь, - отвечаю я тебе.

- Вижу, он тебя в дураках оставил.

Ах, отец, что ты знаешь о моем времени? Ты был рядовым врачом и целым госпиталем командовал, а Якубчик - кандидат наук и работает начальником отделения.

Улавливаешь разницу? И оп против.

- Эх, жил бы я! Люди всегда против того, чего сами не делают, особенно если еще обзавелись титулами.

Но что, отец, изменится, если даже я так думаю?

- Да скажи ты своему Якубчику, что одряхлел оп, заблудился в детских горшочках. Скажи и ударь по столу кулаком.

Нет, отец, по понимаем мы с тобой друг друга.

"По столу кулаком..." Но столу Павла Федотовича?

А знаешь, как я обязан этому человеку!

После института я был призван в армию и получил назначение в отдаленный гарнизон. Некоторые думают, что там мне пришлось заниматься только фурункулами, нотницами и прочими семечками. Не скрою, занимался.

Но зато никакой опеки светил. И это здорово, что сразу я был брошен, как не умеющий плавать, на быстрину, где приходилось самому барахтаться изо всех сил, чтобы достичь берега... Так вот о Якубчике.

... - Ой, батюшки, - бежала по коридору медсестра, - ой, батюшки.

- Что случилось? - Я вышел ей навстречу из перевязочной.

- Ой, батюшки! Коля, наш Коля...

Вслед за медсестрой офицер и два солдата несли безжизненное тело Николая Аксенова, которого я тут же узнал. Спортсмен. Мотоциклист.

- В спину... из пистолета, - скороговоркой произнес побелевшими губами лейтенант.

Все в крови. Лицо заострившееся, бледное.

- Сюда, - указываю на стол.

Пока разрезаю одежду, лейтенант сбивчиво рассказывает:

- Угнали из поселка машину... Милиция перекрыла все дороги... И нас попросили помочь поймать угонщика... Мы патрули военной автоинспекции... Аксенов догнал "Волгу", оботел, и тот, сволочь, в спину...

Пуля, где пуля? Но интуиция подсказала: надо начинать не с этого.

- Кровь! - говорю я своей толстушке.

- Ой, батюшки, все отдали этому... как его... вы капельницу приказывали ставить...

- Я приказывал тут же пополнить запас.

- Позвонить в Киев, в госпиталь? Али как?

- Звоните!

А сам распахиваю дверцы шкафа, достаю аппарат для прямого переливания крови. Я построил его по принципу роликового насоса. Диск величиной с консервную банку пронизывает трубка, по ней с помощью рукоятки кровь перекачивается от донора к пациенту.

Метнулся к другому шкафу, достал карточку Аксенова. Повезло парню. У нас с ним кровь одной группы.

Игла покорно тонет в вене, другая - в моей.

- Вращайте, - приказываю ничего пе понимающему лейтенанту, подавая ему диск.

Нервно дернулась трубка: пошла кровь. А потом...

потом прямо на пол звякнула извлеченная пуля...

Вот тогда и появился в перевязочной полковник Якубчик. Сюда, в отдаленный гарнизон, его доставил вертолет. Энергичные руки, прищуренный пронизывающий взгляд, умение оценить обстановку по едва уловимым деталям.

- Спинной мозг? - спрашивает.

- Не поврежден, - отвечаю хирургу заплетающимся языком. - Пуля вон там, - указал я головой, и голова потянула меня куда-то книзу.

- Что с вами?

- Кровь пришлось давать самому, видно, переборщил, - отвечаю, а в глазах темным-темно.

Полковник повернулся к медсестре-толстушке:

- Организуйте вашему доктору горячее питье. Только быстро.

Та покорно поклонилась и, выдохнув свое "ой, батюшки", поплыла по коридору. Полковник Якубчик не улетел, остался ночевать, сказав, глядя на меня: "Беда в одиночку не ходит".

К ночи я пришел в себя. Из всего происшедшего запомнилось, как впервые меня сегодня назвали доктором.

Теперь мы оба находились у койки Коли Аксенова. Пульс выравнивался. Сердце стучало ритмично, наполненно.

- Ну что ж, старший лейтенант, делать мне здесь больше нечего, - Павел Федотович по-братски положил мне на плечо свою увесистую руку. - А вот по грибы завтра на зорьке не прочь сходить.

- Приглашаю, - сказал я. - У нас тут грибные места.

Со срезанной рогатиной, точно с миноискателем, Павел Федотович продирается сквозь росистый ельник. Я за ним. Маслята и сыроежки, приподняв своими бархатными беретиками прошлогоднюю хвою, сами просятся в целлофановый кулек. Кулек быстро паполняется. Павел Федотович счастливо подмигивает мне. И вдруг приседает.

- Гляди, старший лейтенант, кого я поймал! Белый гриб - всем грибам полковник. - Старым скальпелем, припасенным мною еще с вечера, он срезает "полковника"

под корешок. - Да, места здесь курортные. А как идет служба?

- Вы видели, - отвечаю.

Павел Федотович посерьезнел:

- Как вам удалось так ловко управиться с Аксеновым?

Я нерешительно объясняю:

- Мой отец занимался проблемой "спинальпых" больных, оставил после себя кое-какие ценные наблюдения.

При случае я использую их...

Когда Павел Федотович собирался в путь, мы снова осмотрели Колю Аксенова.

- Не забудьте сделать пункцию, - посоветовал опытный хирург. И добавил: - Вам, конечно, для работы по вашей проблеме нужна научная база.

- Она и здесь, в гарнизоне, есть, - сказал я. - Несчастья везде одинаковы, и везде от них одинаково страдают.

Я заметил, как при этом Павел Федотович прищурил глаза, выражая сомнение.

И мы расстались. Но Павел Федотович меня запомнил и, когда представился случай, взял к себе, в киевский госпиталь.

- О, да мы выросли! - сказал он при встрече, оглядывая меня, мои, теперь капитанские, и свои, попрежнему полковничьи, погоны. - Только скажу вам, что звезды в медицине не растут так быстро, как грибы.

- Так точно, товарищ полковник, - говорю громко.

- Для вас я отныне Павел Федотович. Просто Павел Федотович. - И полковник по-братски похлопал меня по плечу.

Меня вытащили из глуши, отец, понимаешь? Передо мной распахнулись двери лечебного центра: твори, дерзай... А я, по-твоему, должен кулаком по столу? Я понял тогда - у меня началась новая жизнь.

- Ничего ты не понял, сын мой! Переступая порог госпиталя, ты и не заметил, как тебя подмял авторитет уставшего человека. Его возможности стали твоим пределом. Выше их прыгнуть тебе не дозволялось: на страже были и самолюбие Якубчика, и его прошлая слава. И вышло: он взял тебя под свое крылышко, чтобы ты ему нитки задергивал на операциях.

Постой, отец, постой. Ты никак провоцируешь меня на разрыв с моим учителем?

- Мое почтение! Твоей второй натурой, майор медицинской службы, давно стала угодливость, если не раболепие, учтивость, если не идолопоклонство. Теперь трудно что-либо изменить: тридцать лет прошло.

Стучат, стучат колеса. Человек, заживо погребенный, проклинает мое имя. Анна, Анна, ты и не подозреваешь, какое новое испытание уготовила тебе судьба! Стучат колеса. Стучат, ломятся в мою душу твои слова, отец.

Что же мне делать?

И снова голос отца:

- Ну, например, я вот плюнул на икону.

Какую еще икону?

- Обыкновенную. Нас было шестеро у отца. Кстати, твой дед был регентом, это что-то вроде помощника попа по хоровой части. Он собирал певчих для церковного хора. За эту работу от денег прихожан твоему деду доставалось то, что сквозь пальцы попа протечет. А матери так хотелось достатка. Она говорила: "Умру спокойно только тогда, когда хоть одного своего сына увижу в рясе". Выбор пал на меня. Но я, сколько помню себя, все занимался лечением собак да кошек, доктором хотел стать. А меня взяли и отправили в духовную семинарию.

Все рушится. Как уйти?

И ты плюнул на икону.

- У меня не было другого выхода. И когда батька стегал меня кнутом, я, взвизгивая, кричал: "Все равно буду доктором..." А ты? Можешь ты своему преподобному Павлу Федотовичу открыто сказать: "Мы не сработались с вами, товарищ затухающее светило, так что мое почтение"?

- Я, отец, все-таки старший ординатор.

- Не ординатор, а ординарец. Так вернее. Оруженосец. Когда твой рыцарь-кумир был еще на коне, ты носил его доспехи и чувствовал себя при доле, а теперь не знаешь, куда нести оружие.

- Ну хватит, батя! Поучил сполна, унизил...

- Лакея унизить нельзя.

- Чего ты от меня хочешь, наконец?

- Хочу заразить тебя своим беспокойством, своим бескорыстием, которых тебе так не хватает сегодня, мой мальчик. Хочу знать, что это я твоими глазами открыто смотрю в лица людям, хочу чувствовать, как твоими руками сегодня я творю для них счастье.

- А что такое счастье?

- Счастье - это быть живым.

И уходишь. И не крикнуть: "Постой!" Слово, на какое с надеждой еще оборачиваются порвавшие с тобой люди. Не обнять, не прошептать: "Прости, я все начну заново". Ведь тебя нет, ты мертвый...

- Кто из нас мертвый?!

Нет тебя, нет.

- Есть! И это я твоими словами говорю то, чего бы ты без меня не сказал никогда никому другому.

...Передо мной взмокший чепец, да рентгеноснимок, да ключи от квартиры Пронниковых, ключи, обжигающие руку...

Поезд, тормозя, вздрогнул, грохнули буфера, лязгнуло под вагоном.

...На пороге ординаторской полковник Якубчик.

Не ожидая от меня рапорта, подошел, поздоровался.

- Ну, как тут без меня?

- Мое почтение вам, Павел федотович! Пока вы были на сборах, в отделении никаких происшествий не произошло, Ивана Васильевича Пронникова я поместил в пятую палату.

- Мальчишка! - кричит полковник. - Ты у меня пот здесь с этой историей! - И он звонко хлопает себя но затылку. - Выговор вам, майор Шатохип. Строгий выгопор!

Я стою навытяжку, жмурю глаза: сегодня такой солнечный день...

- Вот вам и Ворошиловград, - раздался голос проводницы в тот момент, когда он мог и не раздаваться.

Само собой это стало ясно, когда в окнах выросли контуры вокзала, показались прибывшие к поезду машины, а там, за сквером, взлетающий на мост трамвай.

Как по тревоге сдаю проводнице нетронутую постель.

И вот уже пробиваюсь сквозь перронную толчею. Солнечные лучи, профильтрованные облачной рябью, осветили лица. А может, это от долгожданных встреч?

Ты ходил по этим улицам. По Каменному броду. Первые пушки для Бородинской битвы и прадед тепловоза, доставившего меня сегодня в город твоей юности, были сработаны тут... О, Каменный брод! Сегодня он утонул в западне балки за корпусами улицы Советской. Будто старая рабочая Луганка вышла из берегов и понесла на своей спине корабли-дома, понесла через весь город, пересекая площадь Героев Великой Отечественной войны, туда, к высокому горизонту. Нет, тебе нипочем не узнать бы теперешние места.

Время торопит меня к автовокзалу. "Икарусы", как смиренные тигры, рычат на развороте. Одни уходят в рейс, другие тут же, след в след, занимают их места.

Беру билет. Двадцать минут могу постоять, потолкаться среди кочующего люда. Брожу туда-сюда. Вещи, недосказанные слова, водители с путевыми листами. Из-за стекла киоска Союзпечати с обложки польского журнала голенькая девица строит глазки. Спрашиваю "Известия".

- С утра только местные газеты, - был ответ, - по в местных вы можете прочитать сегодня то, о чем в центральных напишут только завтра.

- Например?

Голова киоскера высовывается из окошка.

- Например, узнаете о бригаде шахтера Мурзенко, - Голова скрылась, но деликатно зазывающий голос не умолкал: - За десять месяцев - миллион тонн антрацита. - И рукой, как

автоматом, киоскер вытолкнул из окошка "Ворошиловградскую правду".

- Спасибо.

- Спасибо скажете чуть позже. - Киоскер утонул в глубине будки. Он что-то выдергивал под прилавком, старательно и долго, и я в ожидании результата успел изучить коллекцию значков, наколотых на ленты разного цвета. - Прошу, товарищ. - И продавец снова вытолкнул газету, на этот раз комплект "Недели". - Прочитаете о совместных тренировках советских и американских космонавтов. Любопытно, с точки зрения пауки.

Я добавляю:

- И с точки зрения температуры мира.

Киоскер замешкался:

- Я, знаете, еще мальчишкой, в тридцать девятом, продавал газеты в киоске. Помню одну газету. - Тут он пропал в глубине будки, распахнул боковую дверь и вышел ко мне. - Вы случайно не на Саур-Могилу путь держите? Жаль. Это якобы вторая Курская дуга. Там земля пополам с осколками. Каждый, кто приходит туда, уносит с собой один осколок. Тридцать лет прошло, тридцать лет оттуда увозят по белу свету эти сувениры смерти, а они все есть и есть.

Он стоял передо мной, тщедушный человек в потертом пиджаке, но почему-то при широченном модном галстуке. А вместо правой руки - протез, коим он наловчился искусно выталкивать газеты.

"Икарус" ласково зарычал. Спрашиваю, долго еще ехать.

- "Неделю" прочитаете и окажетесь на месте, - сказал сосед с толстым портфелем на коленях и уткнулся длинным носом в окно.

А мне и нужен такой неразговорчивый попутчик.

Сейчас мне вообще никто не нужен, потому что я продолжаю путь к тебе. Когда я был маленьким, ты часто устраивал поездки по этим дорогам. Тогда, перед войной, асфальт казался чудом цивилизации. Ты использовал ею наилучшим образом. В воскресенье мы поднимались в четыре утра, и единственная в твоей больнице "эмка" уносила пас то в Донецк, то в Артемовск, то в Копстаптпновку. Ты водил нас с мамой по каким-то спецмагазинам, скупал какую-то медицинскую аппаратуру, чтобы в споей больнице открыть рентгеновский кабинет.

Я запомнил эти асфальтированные трассы спокойными, летящими под жарким донецким солнцем. По обочпнам живой дымкой лежали ковыли. Иногда ты просил остановить машину, выпрыгивал из кабины и, отбежав несколько метров, вскидывал ружье. В этих местах тогда водились жирные дрофы и юркие

куропатки. Теперь птица ушла. Загрохотали по горячему асфальту Донбасса многотонные тягачи, высокие холодильники, тяжеловесные автокраны. Загремел машинный век, угнал зверье в страхе за дымный горизонт.

- Что же вы, наши наследники, так безалаберны? - слышится снова твой голос. - Молчишь. Тебе нечего ответить. А ведь это касается тебя, майор медицинской службы.

Касается, да. И наверняка касается Евсеича. Помнишь усача из Коммунарска? Почему-то и ему не спалось в вагоне.

А среди мощного потока моторов бегут машины, жадно выискивая новые пути через тридцать лет. Я бы назвал их службой "Память" и выдавал бы сыновьям обязательные путевки для посещения затерявшихся в просторах земли обелисков. А было тебе в этот момент страшно? Нет, тебе никогда не было страшно. Ты писал:

"Сегодня группа головорезов прорвалась прямо к нашим палаткам. Отбили. Стреляли даже раненые!.." Это была твоя последняя открытка. И строчки спокойные, ровные, словно ты их писал в своем кабинете, сидя за столом.

А на самом деле написана она была где-то здесь, в самом пекле, в этих теперь тихих местах, куда сегодня песет меня новенький комфортабельный автобус. А тогда, в сорок первом, твоя санитарная машина, похожая на теперешние маршрутные такси, надрывно визжала, едва поспевая за потоком боевой техники, уходящей на иосток. Слабепт.кая "санитарка", в ней и военного-то было разве что зеленый цвет. Защитный цвет. Разворачивались "хейнкели" и "фокке-вульфы", коршунами снижались, завидя, как добычу, красные кресты на бортах твоей верной подруги. Сиреной ревело небо, и ты приказывал укрываться в воронках и кюветах вдоль разгоряченного ассЬальта. Взрыв: один, другой. Вопреки страху ты приподнимал голову и видел: стоит зеленая "санптарка" целехонькая. "А что, сволочи, поживились? - цедил ты сквозь зубы, глядя в умолкающее небо. - И не надейтесь!" Для тебя фанерная "санитарка" тогда была самой неприступной крепостью. Может, это было как раз чут, у самого террикона, где сейчас плавно затормозил мой автобус? Теперь здесь вырос новый шахтерский город. Автобус делает остановку. Выходят и входят люди.

Я снова летящая под солпцем дорога. Пирамида террикона остается справа, и, вытягиваясь в линию, поплыли в размытых звенящих стеклах белостенные корпуса.

За крутым попоротом шахта. Автобус огибает ее, словно делает почетный круг.

Я помню, однажды ты вернулся домой весь в угольной пылп.

Мама, отступив на пороге, растерянно оглядывала тебя, твои руки, сегодня оказавшиеся вдруг в черной паутине, твою всегда белоснежную сорочку, сегодня в темных полосках. Ты сделал попытку улыбнуться.

- Шахту проверяли. Меня в комиссию включили, - говорил ты, стараясь развеять мамино удивление.

Потом вы с мамой пели только что появившуюся песню "Вышел в степь донецкую парень молодой". Да не пелось в тот вечер. Ты, помню, взял маму за плечи, привлек к себе, с тихой печалью сказал:

- Трудно добывается солнечный камень.

Я сидел напротив вас, по-турецки скрестив ноги с острыми коленками, похожими на узлы, и мои глаза задавали тебе вопрос: почему трудно?

- Сегодня четверых привалило пластом. Эти люди больше никогда не встанут на ноги.

Почему?

- У них поврежден спинной мозг, - ответил ты мне как взрослому, словно уже тогда я должен был понять то, с чем неминуемо предстоит мне столкнуться в жизни.

Мы долго молчали. Мама неслышно убирала со стола посуду. Л утром над черной землей плыло рыдание гудков. Но снова и снова эти же гудки вели горняков в забой. Тогда еще не было угольных комбайнов. Зато много было "спинальных" больных. Но это был твой Донбасс.

Отчаянный, пропитанный густой пылью и навеки родной. И сейчас, глядя в окно автобуса, я собираюсь с силами, чтобы вспомнить: не из этой ли шахты возвратился ты л тот далекий день? Теперь эта тахта не действует. Вокруг, вижу, мокнут под серым снегом какие-то балки, шпалы, сваренные крест-накрост рельсы. Снег перемешан с угольной пыльцой, и небо от этого кажется янтарным, а еще зловещим. А шахта как уснувший вулкан, как памятник тем, неспасенным... Автобус плывет по шахтерскому поселку, через площадь, топмозит. Может, тогда, в сорок первом, вот здесь останавливалась твоя "санитарка", чтобы, передохнув, снова двинуться в путь. И на тебя, военврача второго ранга, глядели все понимающие люди. Ты искал в их глазах терпение, преданность. Ты обещал им вернуться. Они тебе верили, провожая на восток, туда, к Сталинграду. Ты махал им нл прощанье рукой, и твоя "санитарка" бежала по этой вот самой дороге. Мы с Анной дотошно изучали карту здешних мест и рассчитали, что теперь совсем скоро...

- Она знает, куда ты отправился?

Анна все знает. Теперь мы видимся чаще. В своем форменном

пальто цвета вечернего неба она появляется в госпитале сразу после очередного полета.

- У вас все спокойно? - задает она один и тот же вопрос.

- У нас не бывает спокойно, - говорю я.

- А я хочу, чтобы у вас было все спокойно, злой человек.

И я становлюсь добрым, как котенок.

- На днях все прояснится, - это я Анне о судьбе ее отца.

Этот день наступает быстро. Открывается дверь ординаторской, и я слышу голос полковника Якубчика:

- Зайди, Ниночка, зайди, детка.

Павел Федотович молча тряхнул мне руку. Ниночка привычно подала полковнику халат. Павел Федотович сегодня оживлен, даже его лысина не покрывается испариной. Неужели старый хирург решился? Во всяком случае, все об этом говорит.

- Как поживает мама? - как-то по особенному любезно обращается шеф к медсестре.

- В порядке, - отвечает Ниночка. - На пенсии она.

- Что ж, твоя мама на заслуженном отдыхе. Ты-то знаешь, как мы с ней познакомились? На фронте это было. Не кому-нибудь, а самому Рокоссовскому делала перевязку медсестра Петрук. - Павел Федотович сел за стол и теперь, почему-то глядя только на меня, продолжал: - Помню, маршал подозвал меня взглядом и сказал: "Руки у вашей медсестры золотые. Спасибо, что вы так умело обучаете персонал". А я говорю маршалу, что медсестра Петрук всего час назад прибыла в медсаноат.

"Тогда, - засмеялся маршал, - пусть она вас учит".

И учила. Что ж, я был молод, у меня были приличные знания, а у нее опыт. Что ж, это фронт. Без взаимовыручки нельзя. А сколько она меня выручала, Ниночка! - Павел Федотович произносил это все так торжественно, что Ниночка даже забыла прикрыт), пальцем темный пушок над губой. Оп передохнул и уже совсем тихо сказал: - Теперь вот ты, детка, сменила маму.

Я доволен тобой. Ты послушная, исполнительная девочка.

Вдруг полковник встал из-за стола, засуетился, глядя на меня в упор, в его мясистых пальцах зашелестел свежий рентгеноснимок.

- А перелом-то, оказывается, оскольчатый, - сооощает он и выжидательно сверлит меня взглядом. - Одно неверное движение пальцем, и осколок разрежет спинной мозг. Вот так, Платон Кречет... Да... Не лучше ли человеку сохранить то, что у него осталось? - Якуочик сморщился как от боли и тихо добавил: - Спасиоо за снимок, Ниночка.

Медсестра вышла из кабинета.

Я гляжу на его руки. О человеческие руки! Им подвластна

глина, дерево, камень. Под ними металл становится мягче теста. Сильные руки человека. Они могут выбрасывать ненужное, урезать громоздкое, отсекать лишнее. А что могут эти руки, руки хирурга? Им не дозволено переделывать, они обязаны только восстанавливать, только сохранять.

- Ну хорошо, - дискантом поет Павел Федотович. - Удалим осколки, травмирующие мозг. А дальше?

- Дальше... фиксируем трансплантатом костный отдел, - говорю я так спокойно, словно это давно решено и мне осталось лишь напомнить.

- Смело, ничего не скажешь. - Павел Федотович играет со мной, точно кот с мышкой. - Но что, что же ты предлагаешь в качестве заменителя?

- Кость голени больного, - чуть не выкрикиваю я.

- Вот как! - Он снова шелестит пленкой. - Гдето ты прав, но, выходит, в одной операции три операции одновременно! - Мой разгневанный старик потрясает толстым пальцем над головой.

- Три этапа в одной операции. - Я стараюсь смягчить картину и чувствую, как от этого мне самому становится жарко.

Павел Федотович устало кладет снимок на стол.

- Это, мил человек, уникальная операция. И вообще... Мы вот с тобой толкуем, толкуем... А ведь у нас на Украине есть прекрасный специализированный санаторий. Знаешь?

- Знаю, конечно. Это в Славянске. Условия этого единственного в своем роде лечебного комплекса максимально приближают больных к нормальной жизни. Механизированные каталки, автоматизированное оборудование столовой, et caetera, et caetera. Но как бы там ни было, все это даже не полумеры. Среди обитателей сапатория есть и лихие наездники, и парашютисты, и альпинисты, ц просто автомобилисты, бегущие от городской духоты к травам, чернике, морскому прибою. Эти люди привыкли воспринимать мир в движении, в полете.

И вдруг однажды этот летящий, этот поющий ветром странствий мир замер, застыл, окаменел. Лихорадочно бьется мысль: "Неужели это все? Нет, нет! Ведь голова соображает, - так сказал мне Иван Васильевич, - только вот ноги как ватные, - как было у Вани Федорова, - полечить бы их, и все тогда!.." Наивная надежда.

Врачи уже обещают что-то невразумительное, медсестры молча лечат пролежни, тело тлеет, а под окнами палат все реже слышатся близкие и теперь такие далекие голоса жен... Летящий мир не возвращается, а все дальше и дальше уносит звуки жизни. И вы предлагаете Пронникова сбыть в этот санаторий, на вечное поселение? Иван Васильевич сперва встретил меня в штыки. А потом снова поверил в чудо.

- Нет чуда! Есть осколки, травмирующие мозг и угрожающие хирургу. И не придумано еще такое мумиё, которое спасает от взаимной опасности врача и больного.

- Но кто-то же должен когда-то решиться, Павел Федотовнч!

Полковник перебивает меня:

- Ты решай!.. Если уверен, что отойдешь от стола...

- Я?

Это была ловушка. Он прекрасно понимал, что, кроме него, рисковать некому. И когда я вышел из корпуса и брел тихими госпитальными аллеями, меня навязчиво преследовала мысль: неужели эта неделя, которую лежит у нас Иван Васильевич Пронников, это дообследование, навязанное мной, ничего не дали? И операция не откладывается, ее просто не будет.

А тут еще Женя пропал. Правда, уже конец рабочего дня, может, побежал в роддом к жене: она вот-вот должна разродиться первенцем. На всякий случай заглядываю в анестезиологическое отделение. И слышу твой голос:

- Живете, как боги. В мои времена анестезия была ошеломляющим открытием. А теперь даже отделение такое?

Да, отец, представь себе. Анестезиологи - это как техники в Аэрофлоте. Без них нет взлета, нет мягкой посадки. Каждый винтик ими прощупывается и обследуется, прежде чем летчик поведет воздушный лайнер в далекий рейс.

Иду мимо палат. Слышу знакомый говорок:

- Доброе у вас сердце, просто нервы...

Это Женя кого-то подбадривает.

- Женя! - кричу шепотом.

Обернулся, ласково улыбнулся, приподняв черныечерные брови.

- Женечка. - Мы усаживаемся в просторном холле, разделяющем наши нейрохирургическое и анестезиологическое -

отделения. - Продолжим наш разговор.

Значит, профессор Гребенюк - начальник кафедры Военно-медицинской академии...

- Это я знаю.

- И знаешь, что он занимается проблемой разорванного и нарушенного спинного мозга?

- И это знаю.

- Ну, у тебя, доктор Ангел, не зря божественная фамилия! Значит, завтра, в пятшщу, ты летишь к нему в Ленинград.

- Нет, в Ленинград я не полечу.

- Женя, ты успеешь, твоя жена по крайней мере через неделю...

- Тебе мало выговора? Так Якубчик добавки даст.

- Женя, ты ведь не с пустыми руками летишь. Вот тебе чертежи нашего ретрактора. Держи. Вот свежие снимки Пронникова.

- Нет, в Питер я не полечу, друже.

- Ангел!

- Не просто Ангел. А служащий Советской Армии. - Женя берет гвоздику из моей пепельницы, жует стебелек. - Вам, офицерам, что? Подошло время - дают новую звезду, а мне одни переживания.

Швыряю на подоконник снимки:

- Пусть Якубчик, ему удобно сохранять порядок из тех вещей, которые уже есть, новые предметы в старых умах не могут укладываться. И ты туда же. А, черт с вами со всеми.

Женя вскрикивает:

- Будто ты ничего не знаешь. Говорил я тебе сразу, твоя Ганпа с запятой... она и есть с запятой... Она батьку забирает из госпиталя.

- Ивана Васильевича? Ты ничего не путаешь, Женя?

- Это твоя Ганна все твои карты спутала.

Развязываю тесемки на халате. Скачу по ступенькам вниз. Надеваю шинель. Бегу. Скорей в город, к Анне.

И в этот момент:

- Здравствуйте, злой человек. - Анна встретила меня у приемного покоя.

Я поймал ее шершавую руку:

- Зачем вы сегодня здесь?

- Секунду. - Девушка проворно высвободила ладонь, сняла с плеча свою модерновую сумку.

- Анна - обрываю ее осекшимся голосом. - Ьеичас модно лечить нервы. И чтобы своими сомнениями вас пе тревожил Павел Федотович Якубчик, я упрячу вас в психиатричку. На целый

месяц. Да, да!

- Какой вероломный человек. - Она щелкнула замком сумки, достала "Театральную" конфету. - Возьмите, это как долгоиграющая пластинка. Жуйте, доктор. Это лучше, чем считать до одиннадцати, чтобы, не горячась, принять единственно правильное решение. - И я покорно грызу. Анна положила ладонь на ворот моей шинели, поцарапала ноготком эмблему на петлице. Какая красивая змейка. - Анна еще барахталась в своем оесконечном море иронии, но барахталась уже из последних сил. Слышался ее все слабеющий шепот: - Раньше я не подозревала, насколько все это сложно... я не в состоянии рисковать сразу двумя - папой и вами.

- Если кто и рискует, так это я. - Но, глядя на нее, растерявшуюся, подумал: это работа Якубчика - "проблема не будет решена в ближайшую эпоху"... Так он повторял не раз еще там, в отдаленном гарнизоне. Ух эти якубчики! Но Анне я говорю:

- Павел Федотович - мастер что надо. Но бывает такой период у человека, когда его нужно подтолкнуть, расшевелить, понимаете? Женя Ангел летит в Ленинград с описанием будущей операции. Я уверен: будет "добро"

на взлет.

- Будет?

Я достал записную книжку, нашел заложенную в нее вырезку из газеты "Известия".

- Вот, - говорю, - слушайте. "Ростов-на-Дону.

Здесь открывается пятая Всесоюзная конференция нейроинбернетиков", Анна из-за плеча пытается заглянуть в текст информации. - Представляете, с помощью специальной машины в разорванный мозг передается импульс мышцам, и ноги несут человека!

- Фантастично, - шепчет Анна, и в ее голосе я улавливаю едва рассеивающееся сомнение.

Пытаюсь его рассеять окончательно:

- А Ивану Васильевичу такая машина не нужна.

Вот тополь. Видите, на его стволе скоба, вроде кольцо из железа, оно сдавило кору, вот-вот зажмет сердцевину, и тополь погибнет. Нам нужно что? Разомкнуть кольцо.

И все.

- И все. - Она уже идет на поводу у моих мыслей.

И снова поворачивается ко мне, и снова царапает эмблему. - А вы ничем не рискуете?

"Рискую не стать человеком", - подумалось мне.

Я увлек Анну в обратную сторону, она покорно вернулась, и мы зашагали вниз по бульвару Леси Украинки.

- Аннушка. - Я впервые назвал ее так и увидел, как при этом она замерла. Такой я запомнил ее в нашу первую встречу. - Аннушка, - повторил я, - мне действительно не хватает опыта, хотя мои годы...

- Мне все понятно, - сказала она огорченно.

- Нет, не все, - сказал я, собирая остатки своей храбрости. - Я знаю, вам трудно. Знаю, что ваш отец прекрасный человек. И вы божественная...

- Какой же мне еще быть с моей профессией?

- Ыу, что касается профессии, то, может, не надо летать.

- Не летать? - изумиласьАнна, когда при переходе

улицы нахлынул очередной поток машин и мы оказались посреди магистрали. - Земля летит, и все люди летят вместе с ней, а мне хочется чуточку больше. - Потом она как бы опомнилась и, взяв меня под руку, заговорила: В Вильнюсе я посмотрела все пять выпусков мультика "Ну, погоди!". Я так и не поняла, чего хочет волк от маленького бедненького зайца.

Я по-дурацки растянул губы и этой застывшей улыбкой проводил поток машин. Мы перешли на другую сторону улицы.

- Аннушка... в общем я предлагаю вам руку и сердце...

И как это у меня вырвалось, не знаю, но вырвалось, и хоть сквозь землю со стыда.

Анна воскликнула:

- А я думала - вы гигант.

- Сегодня гиганты выглядят именно так.

Как еще я мог отшутиться? Но девушка не шутила:

- В каком магазине уцененных товаров продаются эти словосочетания, что вы так легко их сбываете? - Она глянула на меня в упор. - Впрочем, чего я требую от человека без опыта? А не приходило вам в голову, доктор, для чего однажды я подкараулила вас на вашей излюбленной лавочке? Подстерегла, не изумляйтесь. - Анна замедлила шаг. - Как опытный агент, и заранее узнала о вас все: талантливый, решительный, ищущий.

- Талантливому человеку труднее отказать? - перебил я.

- Нет, просто талантам страдания на пользу. Он не верит! - Тут Анна засуетилась, достала из сумки блокнотик. - И я разработала несколько вариантов вашего пленения. Вот, - она показывает исписанный листик. Вариант первый: я прохожу мимо, ослепляю вас, но увы...

вас увлекал шорох листьев "шпитальпого" парка. Сработал вариант "Театр". Чего вы смеетесь?

- Вариант "Театр", - говорю я в таком же детективном тоне, осложняется и перерастает в операцию "Попалась".

Анна обиженно, как ребенок, надула губы:

- Женщина всегда права, и, если БЬ! этого не поймете, вам никогда не повезет в жизни.

Ранний вечер. Час "пик". На Крещатике многолюдно.

Я пыряю в метро, словно в пропасть...

А сейчас сквозь надрывный гул автобусов, сквозь сбивчивый говор моих попутчиков слышу, как ты говоришь:

- А эта стюардесса молодец.

И смеешься. Почему ты смеешься?

- Смеюсь, друг мой. Приятно все-таки знать, что мои сын наивный человек. Не терплю расчетливых. Так пот, дружище, твоя Анна вынуждает тебя бороться за свою любовь. Да, да. Бороться. Я завидую тебе.

Завидуешь. Чему?

- Тому, как Анна принуждает тебя продлить ваш полет, ваш праздник. Да и пе лишне тут вспомнить старину. Еще древние открыли свойства и виды любви. Они знали все о полюбивших во сне, о полюбивших по описанию. О тех, кто влюбляется лишь после долгого срока, о тех, кто полюбил какое-нибудь качество и не любит после того других, с ним несходных. Настолько ли ты понял Анну, чтобы выбрать подходящий момент для признания?

Все произошло как у тебя. С первого взгляда.

- Ох этот первый взгляд. Как первый снег. Тает быстро. Первый взгляд как ранние цветы. Они увядают рано. Это быстрое утешение и нестойкость первый взгляд.

А как же, отец, твой первый взгляд?

- Мой? А ты небось подумал, что мне потом было легко? Любовь всегда насыщена, наполнена содержанием, она предметна, ее можно осязать. Она проходит у тех, кто не способен работать на нее. Да, да, мои друг, работать на любовь. Работать, как раб. Впрочем, ты и не заметил, как начал делать то, чего в другом случае не сделал бы. Правда?

Ах, отец, ты добрый человек и просто-напросто утешаешь меня.

- И ты добрым будь. Это выгодно: добрые живут долго, мой мальчик.

Шутишь. Ты всегда в трудную минуту умел отшутиться.

- Но ведь ты убедил Анну?

Кажется... Но прежде ее убедил полковник Якубчик: этот оскольчатый перелом, как мина замедленного действия, мо/кет сработать в самый неподходящий момент.

- Что ж, он прав, твой шеф. Терапевт уточняет диагноз и через неделю. А попробуй ты пройти мимо явной угрозы. Хирург, как и сапер, не имеет права на ошибку.

Ну вот, теперь ты видишь, в какое время я отправился к тебе.

- Вижу. Трудная у тебя минута. Но я и не подумаю, что мой сын навещает меня в час своего праздника, тогда бы ты явился ко мне просто с пустыми руками. Впрочем, заведено так на свете: когда вам, детям, приходится туго, вы вспоминаете нас, клянетесь в любви и преданности. И мы, даже оставшись за чертой времени, не покидаем вас. Вы ложитесь спать, а мы у ваших изголовий, только вот потрогать ваши головы не в силах. Но как мы плачем, как плачем неслышными слезами, когда теряем в вас свои надежды. Но я жил и радовался не зря. Если твой друг Женя Ангел наперекор всему все-таки отправится в Ленинград, значит, ты чего-то уже достиг.

Ты слышишь грохот турбин, да? Это сверлит пространство "тушка". Там девушка в синем костюме. Она вглядывается в лица пассажиров. Кто-то спокойно хрустит конфетой, привычно разглядывая газеты. Кто-то пугливо бросает взгляд в иллюминатор, наверное, летит первый раз и чуточку трусит. Девушка спокойна. Если даже не выпускается шасси и командир корабля кружит и кружит над землей, надеясь на чудо. Проходя по салону, она спокойно произносит: "На время снижения самолета всем необходимо пристегнуть ремни. Они вмонтированы в сиденья ваших кресел. Уважаемые пассажиры..." И будет предлагать ничего не знающим об опасности людям леденцовую карамель, которая устранит неприятное ощущение в ушах. А Жене Ангелу она, конечно, принесет целый кулек "долгоиграющих" тянучек и сто раз напомнит ему, что с профессором Гребенюком я уже дважды говорил по телефону, что Ленинград-теоретик и Киевпрактик стали близки благодаря Аэрофлоту. Пользуйтесь же его услугами, колумбы двадцатого века.

...Крутой дорогой поднимаюсь к госпитальному городку. На минуту сворачиваю в сторону от главных ворот, к бывшей казарме, музею "Косой Капонир". В этой круглой башне когда-то служил Жадановский. Борис Петрович возглавил восставших саперов и был ранен в бою.

В киевском госпитале у него было удалено четыре ребра. Потом приговор суда: смертная казнь, потом замена ее пожизненной каторгой, потом освобождение революцией... Я живу на улице Жадановского... Его поддерживала фельдшерская школа, созданная при госпитале. Ее, кстати, позже закончил герой гражданской войны Щорс.

Это было в 1914 году. Тогда наш киевский госпиталь принял четырнадцать тысяч раненых. Это была адовая работа врачей, сестер милосердия! Не хватало перевязочного материала, медикаментов и просто помещении.

Раненые ютились в наспех построенных бараках и палатках. Тогда солдата считали пушечным мясом. И мои коллеги, в ком бились сердца сынов отчизны, боролись за жизни человеческие оружием беззаветности, чуткости, бескорыстия, лечебного мастерства. Что ж еще, как не это, могло заменить лекарство?!

Я иду тихими утренними аллеями. Весной наш городок наряжается в густую зелень. Люстры каштанов разливают белый-белый свет, в высоких тополях дремлют низкие дождевые облака... Постой, постой... В те дни сорок первого, после того, как ть1 передал свои дела женщине-врачу, наш киевский госпиталь находился в Харькове. Значит, ты, отец, был где-то рядом. Л потом, уже в сорок третьем, госпиталь, наступая в составе Третьего Украинского фронта, дошел до Славянска...

Неужели все закончится на Славянске?!

Сворачиваю с аллеи направо, к дубу с дуплом, вытаскиваю из кармана два припрятанных ореха, стучу друг о дружку и вижу: на мой стук снижается по лестнице веток белка. "Машка, Машка!" - зову. Трещит, разламываясь, орех, и доверчивый зверек все ближе к лакомству. Наклоняясь до земли, открываю ладонь. Машка осторожно тянет мордочку. Смотри, острозубая, не прокуси палец. Через час моя рука и без тебя обагрится кровью, защитницей жизни. Белка неслышно опирается лапками о мою ладонь, хватает кусочек и мигом пропадает в кустарнике.

Я возвращаюсь из глубины городка, замедляю шаг у пятиэтажного корпуса. За его окнами новые человеческие драмы. Одна из них сейчас моя. До боли, до самозабвения. Станет ли она трагедией или я пересотворю ее в счастье?

Рядом со мной идут мои коллеги, сестры, нянечки спешат на смену. А вот и полковник Якубчик.

- Все белок кормишь? - спрашивает.

- Семь лет кормлю, Павел Федотович.

- Где-то ты прав, - невпопад говорит оп и берет меня под локоть.

Неужели наконец лед тронулся? Теперь, чтобы помочь старику окончательно утвердиться в своем решении, нужно добавить несколько слов. Только вот какие именно слова нужны на такой случай? Жаль, я не умею писать статеек в газету, как наш Женя Ангел. Надо подумать до вечера.

А вечером, была не была, иду к Якубчику прямо домой. Я понимаю старика: на службе толком и не соберешься с мыслями. Звонки, какие-то спешные совещания. Все это выбивает из цривычного ритма. Тут уж не до каких-то сверхсложностей.

В дверях встречает меня Аксинья Евдокимовна, женщина высокая и полная, с кухонным полотенцем через плечо.

- Не спит ваш супруг?

- Спит? - Она изумляется, стягивает с меня шинель, ведет в комнату.

Посередине комнаты стоит мой Якубчик на четвереньках, а на спине у него сидят внук и внучка и что есть мочи поют дуэтом, правда, насколько я успел разобрать, совершенно разные песни. В углу, рядом с телевизором, накрывшись полковничьим мундиром, сидел на горшке еще один наследник моего шефа.

- Павел! - хлестнула полотенцем в воздухе Аксинья Евдокимовна точно так же, как это делал после мытья рук ее муж.

Павел Федотович глянул снизу вверх на меня, довольный, растянул губы и без труда подполз ко мне. Дети перестали петь. Павел Федотович спросил:

- Пришел мучить меня?

- Пришел. - Я протянул малышам по шоколадке.

- Ему мало рабочего дня, - пожаловался он своей Ксюше, которая одной рукой, словно мух, смахнула с его спины детишек. - Ты, брат, чересчур современен.

- А вы слишком капитальны, как древние стены нашего госпиталя, - сказал я и пожалел, ведь может выставить за дверь и будет прав.

Но Павел Федотович лишь махнул рукой.

- Уже, дедушка, - сообщил человечек в полковничьем мундире и высоко приподнял попку над горшком.

- Посиди еще, - приказал деловито дед и участливо начал мне говорить о том, как этого внука пришлось сегодня наказать. - Понимаешь, назвал меня... - Якубчик шепнул мне в ухо это слово и продолжал уже громко: - Опи в садик сносят вес мирские драгоценности и делятся там всем поровну, а потом разносят. В моем долю отого слова не хватало, и на тебе, дедушка, получи.

Мы пили чай с коньяком. Под светом торшера лысая голова Якубчика блестела, как новый лакированный глобус. Где же те слова, какие я должен ему сказать?

- Павел Федотович, ведь кто-то должен сделать первый шаг! И почему бы это пе сделать в нашем отделении?

Якубчик иолез в шкаф.

- Прочитал я дневник твоего отца. Прочитал историю Федорова, - сказал он, протягивая мне тетрадь. - Это драгоценная вещь... Храни ее... Но понимаешь, твой отец остановился на том, на чем мы сейчас с тобой топчемся.

И я снопа рылся в твоих записках, копался в нашей семейной библиотеке, собранной тобой. И пристально глядел на меня Пирогов, портрет которого ты переснял еще фельдшером в уездном городке Павлограде, в фотографии некоего Л. П.

Кобалевского. Теперь этот портрет на моем столе... Тысячи раненых в сутки. Сотни осмотренных, прооперированных, выхоженных одним врачом!..

"Не хочу видеть Севастополь взятым..."

Утром я услышал раздраженный мамин голос:

- Ты уже на себя непохож.

- Прости, мама, я, наверно, мешаю тебе отдыхать.

- Ты тихий, как птица.

Ничего себе птица. Двигаю ящики, добираюсь к верхней полке, и книга с длинным названием "Диагностика и лечение вывихов шейных позвонков" грохается на пол.

В ночной тишипе это как атомный взрыв.

Маленькая моя, щуплая мама. В ту снежную зиму, уже без тебя, у нас не было дров. И она ходила в лес, рубила хворост и тащила его на себе десяток километров по морозу, чтобы мне было тепло. Она входила в комнату с заиндевевшими волосами, а лицо красивое, молодое, сильное. Вы оба такие.

Ты тогда ушел и не разбудил меня, чтобы я хоть на одну ночь меньше ждал тебя. Но ведь тем кто уходит, легче, чем нам, остающимся. А мама не брала меня в лес и, может, потому отморозила пальцы и до сих пор мучится. Сколько раз я запрещал ей стирать мои сорочки, а она все равно стирает и говорит, что так никто этого не сделает. Конечно, лучше мамы никто. Я доволен и тем, что у меня всегда есть чашка ароматного чая, а но воскресеньям твой любимый гречневый суп. Мне этого для счастья - вот так! А она, смешная: "Ты уже на себя непохож". Я говорю:

- Когда-то же надо быть на себя непохожим, мама: - Она сидит на тахте, смотрит на меня поверх очков:

- Неужели ты не понимаешь, что твое восстание против духовной сытости Якубчика захлебнулось, что ты исчерпал все, что остался один?!

- Но разве я один? А Женя Ангел? А Анна?

- Анна? После се фортелей у метро? - Мама безнадежно опускает руки. Ах эти молодые, они могут только ревновать. Отец, только отец - твоя верная опора. Вот вы с ним бьетесь над одной проблемой, считай, две жизни на нее уходит...

Она сказала эти слова так просто, будто ты живой, будто мы с тобой в одной клинике работаем, ездим по утрам одним трамваем, заходим в одну и ту же ординаторскую...

Мы с отцом... Протягиваю руку и достаю с книжной полки альбом. И снова, в тысячный раз читаю: "...погиб смертью храбрых". Напротив слова "похоронен" стоит прочерк. Чернилами кто-то провел по бумаге черточку и чуть было навсегда не скрыл

тебя от меня, от нас с мамой. Спасибо Вере Полищук: написала, сообщила твой вечный адрес, прислала дневник. Вот он, конверт, желтый, как осенний лист. "Нагольное-Тарасовка"... Паутннка корявых, вовсе не твоих строчек: "...Пишет вам медсестра местной больницы... Бомба пробила крышу дома в тот час, когда ваш муж оперировал... Приезжайте после войны и наши места, спросите Верочку. Так он меня называл... Всего три дня и три ночи я провела рядом с ним... Но любить этого человека буду всегда..."

Переворачиваю желтый листок. Оборванные края.

"Твой отец остановился на том, на чем мы с тобой топчемся сегодня", мелькнули в голове слова Якубчика.

Зевая, он как будто упрекает тебя. Даже не знаю, как псе это назвать: наглостью, злопыхательством? Нет, еду немедленно, сегодня же.

Захожу к Пронникову. В коридоре сталкиваюсь с Женей. Почему он грустный? Веки красные, воспаленные.

Что с тобой, друже? Махнул рукой. Ну, поговорим еще.

Захожу в палату. От солнечных бликов пушистая седина Ивана Васильевича кажется розовой. А в глазах своего подопечного я не вижу радости. Сперва видел. А потом - консилиумы... И Пронников начал понимать: на этом все кончится снова. Он уже просто устал ждать.

Сажусь рядом.

- Я был в вашем училище и видел расписание. Каждый день по две, по три ваших лекции планируется. Не многовато ли, Иван Васильевич?

Иван Васильевич безнадежно силится повести плечами, пытаясь привстать.

- Я вас не понимаю. - И он сердито отворачивает от меня голову.

- Еще потерпим, осталось совсем немного, - говорю я теперь без шуток, сознавая, что моя ирония была ни к чему. - Понимаете, дорогой Ивап Васильевич, я должен еще посоветоваться со своим отцом.

Иван Васильевич настороженно сдвигает к переносице брови:

- Ваш отец погиб на фронте.

Впрочем, если к могиле человека приходят люди, значит, он еще жив.

Пронников плотно сжимает губы. Кажется, он все понимает. Мне так важно, чтобы он понял. И когда из палаты его повезут на каталке, я хочу, чтобы он знал, что я не бог, что я пришел к его беде через беды прошлого и незавершенного. Я хочу, чтобы в операционной, нот не наступит наркозное небытие, он знал, что над ним склоняюсь не один я. Что рядом с моими руками ссгодня

работают и твои руки, отец. Руки, которые три дня и три ночи, без роздыха и смены, спасали Ваню Федорова. Добрые, теплые руки. Мне так нс хватает их сегодня. И я прошу тебя, отец, возвратиться и встать рядом со мной.

Нагольное-Тапасовка... Штемпель тридцатилетней давности... Встречу ли я там Веру, медсестру местной больницы? А если все быльем поросло? И тот день, когда восьмерых одной бомбой, и память о теое? Вместе с воронками и траншеями заросли, заровнялись под дождями забвения переплетенные войной человеческие судьбы.

Ветром времени отнесло в сторону все мимолетное, случайное, сгладило, заровняло ухабы той кромешной поры.

Но я еду. Все в сторону. Начальник госпиталя отпустил на двое суток.

- Не забудь, пожалуйста, - мама протягивает сверток, - тут завтрак. Ты обычно завтракаешь в поезде, я знаю.

- Откуда ты знаешь?

- Это привычка твоего отца. Завтракаешь в поезде, чтобы сразу, спрыгнув с подножки вагона, делать свои дела. - Мама старается говорить ровно, а слезы бегут по бороздкам морщинок.

- Давай я обниму тебя, мамочка. И присядем на дорожку.

Пуговицы не лезут в петли. Билет куда-то исчез. После лихорадочных поисков нахожу его лежащим, как напоказ, на письменном столе рядом с портретом Пирогова. Прячу в карман Верипо письмо.

- Пусть этот адрес отца помо-жет твоему делу, во имя его он сложил голову.

- Кто спрашивал Нагольное-Тарасовку? Вот она внизу.

С гребня перевала, словно с борта самолета, отчетливо выписываются контуры продолговатой долины. По ее желобу разбежались в испуге хаты, белостенные, кирпичные, под камышовыми крышами. Шахтерский поселок с лесом телевизионных антенн. Здесь, как в укрытии тогда располагался твой госпиталь. Теперь я понимаю почему все произошло именно здесь. Поселок обступили каменистые склоны, и бомбардировщикам было непросто сюда залетать, чтобы вести прицельный огонь. Разве только с большой высоты, сбрасывая бомбы наугад.

На тормозах автобус сползает все ниже и ниже.

В стороне остался дымящийся террикон. Автобус плавает на ухабах, люди уже берут в руки свои чемоданы, корзины, сумки. Кондуктор сворачивает ленту с билетами.

- Скажите, - обращаюсь к соседу, - тут есть памятник погибшим?

- Они везде есть. Пройдете немного, и в аккурат напротив поселкового Совета.

- Это прямо-прямо, - говорят мне.

Камень тарахтит под ногами, или это с мороза мои туфли так звонко выстукивают дробь, или в висках стучит. Из-за поворота выскочила новенькая "Волга", толпа шахтеров, в спецовках, с касками в руках, проводила меня изучающим взглядом. Две девушки торопкой походкой спешат навстречу. Разминувшись, хихикнули, побежали. Вид у меня, наверное, не очень. Может, в этот дом с темно-зелеными резными ставнями, а может, в тот, что у колодца с длинным, как шлагбаум, журавлем, упала сброшенная наугад бомба?

- Это поссовет?

- Ага, сразу за чайпой.

Вспомнил, что давно не ел. И сразу заоыл. Подхожу. Обелиск, окруженный оградой из 110беленногоштакетника. Плита. Серая плита из камня. Выоиты фамилии: Андросов В. П., Гаркавепко Г. И., Султанов Б. О Федоров И. И. Ваня Федоров, тот самый, про которого ты писал? Значит, и в тыл не успел отправить юного командира, поднимавшего свой взвод в атаку? Да нет не может быть. Просто однофамилец. Еще раз читаю фамилии. Наверное, первый раз тебя пропустил. Виноградов К. М., Корж В. П. В ушах грянул залп. Одпп, другой третий. Показалось, что с ветвей дуока от сотрясенного воздуха слетела последняя осенняя листва, подселенная морозцем и оттого кажущаяся невсамделишной.

Смахнул листву с плиты. Снова читаю. Где же, где твоя фамилия, наша фамилия? Почему-то оглядываюсь вокруг. Кого бы спросить? и снова читаю, и снова не нахожу А может, и не должно тут тебя быть? Во время воины всякое случалось. Выходит, какая-то медсестра Вера назвала адрес "Нагольное-Тарасовка" зря? А кстати, где местная больница?

- Вот там, за бугром.

Слышу, как под ногами прогибается старый дощатый пол флигеля. Тонконогая девушка в дверях. Халат, будто платье подвенечное, чистый-чистый.

- Скажите, простите, - не знаю, с чего начать, ооъясняю с помощью каких-то жестов.

Тоненькая медсестра повела меня через дорогу, потом через площадь, снова мимо обелиска со звездой. И я снова возле поссовета. Здесь работает одна женщина. Кажется, до войны она была медсестрой здешней больницы.

Если была, то, разумеется, помнит о военном госпитале.

- Разбомбили его, - говорю. - Так нам написали...

- Тогда то и дело бомбили, - объясняет женщина, к которой

меня привела тоненькая девушка.

- А Веру... не знаю отчества... случайно не помните? Медсестру...

- Мне не надо ее помнить, - улыонулась неловко и, как мне показалось, скованно. - Это я.

Сняла очки, отодвинула от себя счеты, встала, протянула сухонькую руку. На плечах черный платок, подчеркивающий седину. Сколько ей было тогда? Двадцать, не больше. Конечно, она была красивой девушкой, привлекательной... Но и теперь сохранила благородную осанку, обаятельность.

- Медсестрой я и пошла на фронт. А возвратилась домой, стала бухгалтером. Крови больше не могу видеть, - словно оправдывалась она, складывая какие-то бумаги в стопочку. Судорожно вздохнула. - Госпиталем интересуетесь? Много врачей здесь погибло. И сам начальник госпиталя...

- Я его сын...

Мы пристально смотрим друг другу в глаза. Нет, она не всплакнула, не дрогнули ее сухие губы. Тихо произнесла:

- Что же вы так долго не приезжали к нам?

В этом обыкновенно "к нам" мне послышалось что-то болевое, щемящее, а скорее странное. Упрекает? Почему? Глупости, какие могут быть упреки? Сама видит:

служивый я, своим временем не распоряжаюсь. Впрочем, мог бы во время отпуска побывать здесь. Она рассказывает, как прошлым летом сюда, в Нагольное, приезжала целая семья из Грузии... Упрекает, да.

- Но там, на обелиске, нет почему-то фамилии. Как же это произошло?

Как произошло? Она надевает легкую, из синтетического меха, шубку, бормочет незнакомые мне имена старожилов. Вдруг кто-либо из них что вспомнит.

- Я побежала, Вера Андреевна, - тоненькая девушка оставила нас в переулке, упирающемся в каменистые отроги островерхого холма.

- Земля у нас трудная, флюсы, доломит, голый камень. Отсюда и пошло название поселка - Нагольное, - объясняет Вера Андреевна. - Но ничего, обживаемся. Вон, видите, стеклянные крыши?

- Парники, что ли?

- Наше шахтерское хозяйство, на целую тысячу квадратных метров. Свежие огурцы у нас круглый год.

А за парниками, видите, сад. Из самой Алма-Аты выписывали знатока. Ковырнул землю - лопату согнул. Мы уж думали, плюнет и укатит. А он оказался энтузиастом.

На севере, говорит, мои яблоки выросли величиной с мое сердце, а тут, клянусь аллахом, будут не меньше солнца.

Врет, подумали мы. А он что-то скрещивал, мудрил, водил за собой детвору, бульдозеры пригнал из области...

- Куда мы идем, Вера Андреевна?

- Вы же хотели узнать подробности? Вот мы поищем их. К бабе Насте идем, - говорит. - Тот час она была, помнится, в Нагольном.

- Была, сынок. Была. Да как не знать про госпиталь военный? Доньку мою одной бомбой с лекарями убило. - Баба Настя горько залилась слезами, уголком платка промокнула слезы. - Вот там, видишь, сынок, гора меловая? Там фронт был. И везли пораненных прямо к главному. А он-то знал, кому лекарство, а кому земля сырая. Бывало так: пока привезут пораненного, а он и помрет. Так солдаты вблизи школы могилы копали загодя...

- Баба Настя, ты хорошо знала главного врача, расскажи о нем" подсказывает Вера Андреевна.

- Да куды не знать? Доньку мою он самолично лечпл. Ногами она хворала. А когда бомба упала, и сам погиб. И мою доньку поранило. А меня ушибло, в беспамятство вошла я. Только очнулась, а доньку мою схоронили. А главного знала. Знала, сыпок. Душа у него добрая. И сам собой приглядный был мужчина, земля ему нухом.

Мы стоим посреди переулка, мимо нас идут ребята из школы. Портфели больше, чем сами.

- Помнис, Васька, - говорит малыш в расстегнутом пальто, - какие великанские муравеи водились тут летом? - И тычет палкой в плетеный забор.

Васька заметил нас, плачущую бабу Пастю.

- Не пласте, бабуля, - шепелявит сердито.

- Иди, иди себе. И ты иди, расхристанный, - шамкает в уголок платка баба Настя.

Я спросил:

- Это было зимой? Ну, когда бомбили госпиталь...

- Ни-ни, - замотала баба Настя головой. - В аккурат буряки собрали, землица от первых заморозков маленько затвердела.

Странно. Если осенью, то это был сорок первый год, а если в снежную зиму, когда пришло извещение, - явно сорок второй. Путает что-то баба Настя. А может, это не ты лечил ее девочку? И значит, тебя и вовсе здесь не было? И потому фамилии нет на обелиске?

Баба Настя полезла в карман своего ветхого полушубка, что-то там начала искать.

- Вот думаю, зачем такого человека убило? - размышляет

старуха. - А соображаю так: не дала ему я крестик. И ему прикрыться нечем было. А тебе дам, сынок. Ты бери, не брезгай.

Беру. Куда же мне деться? По убеждать же старуху, что не за этим я сюда ехал.

- Вера Андреевна, а чего баба Настя злится на малышей? - спросил я, когда мы снова зашагали по поселку.

Вера Андреевна улыбнулась.

- Да не то чтобы злится. Была она в молодости первой певуньей. На всю округу горняцкие песни пела искусно. А когда у нас открыли музыкальную школу, прпшла в поссовет, говорит, хочу детей научить нашим песням. Сама помру, говорит, а песни останутся. Ну, эти мальцы давай увиливать.

- А она еще может петь?

- Да как вам сказать... по-своему, по-народному...

Где же, где оно теперь, то пианино, на котором ты играл в доме главного инженера шахты, та сущая диковинка довоенных времен?! Звуки Моцарта, звуки, созданные тобой. Они нарастают, бурлят... И, трепетно касаясь худенькой ладошкой инструмента, стоит зачарованная наша мама...

До боли мну колючий подбородок:

- Вера Андреевна... Вера Андреевна. - О чем же я хотел? Ах, вот о чем: - Ни слова не сказала баба Настя о Федорове.

- Не может она знать о нем. - И Вера Андреевпа отводит взгляд в сторону. - Я вот думаю, - говорит она, помолчав, - к кому бы еще вас повести? Может, к кому из мужчин-старожилов?..

Она поворачивается вправо, потом влево. Тот не пришел с фронта, тот вскорости после войны умер. Впрочем, есть, есть один. Он хромой, его не брали на войну.

Мы идем петляющей дорогой между школой и какойто мастерской, сворачиваем к оврагу, переходим по тесовому мостику, оказываемся среди аккуратных домиков, похожих друг на дружку, как близнецы.

- Это наша главная улица. Когда в Нагольном был ваш отец, тут росли разные колючки, был такой Чертов выгон. - Вера Андреевна, как хозяйка дома, невольно проговаривалась обо всем, что сегодня, по ее мнению, украшало поселок. - Вот тут, - она указала на дом, поставленный на высокий фундамент, - наш Крым.

- Местный санаторий? - спросил я.

- Ну, это громко сказано, а в общем почти. Под землей у шахтера маловато солнышка. Ну и построили свою солнцелечебпицу.

- Кварцевое облучение - это прекрасно.

Идем по улице Новой. Возле дома под зеленой жестяной

крышей залаяла собака, потянула по двору цепь, прыгнула к воротам. Собака в поселке, что звонок в наших городских квартирах. На ее громкий безудержный лап вышел хозяин и тут же захромал обратно. Видно, как в окошке занавески раздвинулись в стороны.

- Это дед нас рассматривает, вас за милиционера принял, - объясняет происходящее Вера Андреевна. - На седьмой бабке женился и, чудак, закона боится. Потому как люди говорят, будто дед виноват в том, что все его жены поумирали. - Вера Андреевна машет деду рукой. - Да выходите же, дед Федосей, гости к вам.

Вышел все-таки. Привязал собаку. Приблизившись к плотню, снял и подержал над головой картуз. Теперь уже с Верой Андреевной объясняю все заново. Сморщился старик, мучительно роется в памяти.

- В энтот день я был в шахте, вот в чем дело, - дед Федосей помял и без того морщинистый картуз, потоптался на месте. - Да я всю жизнь свою в шахте. Запальщик я, товарищ военный. Век вековать бы с моим умением, да шахта сама помолодела, и, выходит, мою старость стало виднее.

- Что-то ты, дед Федосей, не то отвечаешь, - сказала Вера Андреевна.

- Уж не то! - недоумевал старик. - В шахте нынче что? Все переиначилось. Взрывов что? Нету, - убедительно приукрашивал дед. Вагонетков что? Нету. Одни машины.

- Так чего ж тебе печалиться? Ты руками много сделал, теперь пусть па машинах молодежь дерзает, дело твое двигает дальше, а ты отдыхай на здоровье.

- Нашлась советчица. - Дед Федосей с подчеркнутой резкостью напялил картуз, дернул за козырек: - Ты сама отдыхай.

- Так ты вспомпи про тот депь, когда врачи погибли, вспомни, а?

- Значит, про врачей. Но сам-то я в шахте был. А был как раз праздник, вот в чем дело.

- Какой праздник? - спросил я.

- Уж какой, память не дозволяет сказать. Не то Октябрьской революции, не то святого Михаила.

Вера Андреевна усмехнулась:

- При чем тут праздник?

- А при том, что люди, помнится, получше в тот день приоделись и семечки по улицам ходили щелкали. Это нынче кажный день по-праздничному одеты, что в будень, что в Октябрьскую революцию, вот в чем дело.

- Ты про врачей рассказывай, дед Федосей.

Дед наконец встряхнулся, прокашлялся в кулак:

- Врачей побило... Верно. Так люди сказывали. Про самого старшего начальника что знаю? Знаю, вот в чем дело. Вроде привезли к нему в лазарет энтого...

- Федорова, - подсказываю.

- Никак не знаю прозвища, но генерала. Это в точности. И доктор зашивал рану генералу. И сказывали люди, будто геперал свой личный орден выдал доктору.

А ты, Верка, не смейся. Хоть и раненый был генерал, а соображение имел. Доктор генералу понравился, и потому тот орден выдал, вот в чем дело. А вы, товарищ военный, как интерес имеете, то оставайтесь на ночевку.

Завтра еще походите, гляди, кого еще встретите.

- Не беспокойся, дед Федосей, гостя определим.

- Во-во. Ты, Верка, найди и молодицу, чтоб и за шею могла подержаться, вот в чем дело.

- Что бесстыжицу несешь? - возмутилась Вера Андреевна.

Вечерело быстро. Дед Федосей так и остался за плетнем с приподнятым над головой картузом. Мы снова шли по тесовому мостку, мимо школы. На здании клуба вспыхнула лампочка. Сюда спешили девчата, парни.

Я вспомнил: сегодня суббота, наверное, идут на танцы.

- Знаете, - остановилась Вера Андреевна, - есть у меня одна приятельница. Уж она-то все вспомнит точно.

"Ну а сами вы, Вера Андреевна?" - так и хотелось крикнуть.

Идем долго, на другой край поселка. Вера Андреевна здоровается с односельчанами, те останавливаются, заметив рядом с ней меня в военной форме. Улица сузилась, сгорбилась. По правую сторону хаты ниже дороги.

- Вот сюда бомба угодила, - тихо сказала Вера Андреевна.

В вечерних сумерках он казался большим-большим, дом с островерхим гребнем крыши. С правого угла ее вырастал стебелек ветрячка, шелестевшего своими лопастями, отструганными, может, такими же руками, как и Васьки и его "расхристанного" друга.

- Совсем новый дом, - слышу я свой собственный шепот, боясь заглушить шелест флюгера-ветрячка.

- Новый, - подтверждает Вера Андреевна. - Долго тут был пустырь, много лет никто не строился после...

Мы молча прошли до соседней избы.

- Жалость какая, - говорит Вера Андреевна, глядя в темные окна. - С шахты еще не пришла моя Полина Ивановна. Но мы ей сейчас записку оставим. - Она приблизилась к почтовому ящику, укрепленному на заборе, перевернула этот ящик кверху дпом. - Это условный знак у нас. Заметит и придет к нам.

Теперь мы шли в обратную сторону. Той же каменистой сгорбленной улицей. Все реже встречались прохожие. Густая темень легла в долину над Нагольный. Ю тут, то там вспыхивали лампочки, отчего поселок казался теперь больше, чем был на самом деле днем.

- А вот здесь я живу, - неожиданно сказала Вера Андреевна и лязгнула щеколдой калитки. Маленький двор. Белье на веревке у самого входа. - Это хатенка моей мамы, - объясняла женщина, пока мы проопрались по темным сеням. - А свой дом я продала тотчас, когда дочка вышла замуж.

Дочку я увидел на (ротографии под стеклом в светлои ореховой рамке. Напряженно вытянув шею, она сидела в резном кресле с высокой спинкой, справа стоял малыш толстяк с надутым лицом, а слева девочка, такая же остроносая, как мать.

- У вас уже двое внуков?!

- Слава богу, - радостно ответила Вера Андреевна, - дочери минул тридцатый год, пора уж.

- Неужели тридцатый? - зачем-то переспросил я.

Вера Андреевна разожгла печку, загудело, забилось пламя, бросая сквозь щели в дверце пляшущие блики.

С улицы в окно постучали, раздался голос:

- Ты дома, Андреевна?

- Это моя Полина Ивановна, - как-то по-особому нежно сказала хозяйка.

Вошла высокая женщина. Телогрейка внаорос. На минуту остановилась, заморгала крупными веками, словно запорошило глаза.

- Ой, гости у тебя какие заметные! - воскликнула. - Я думала, зятек твой на побывку явился.

- Уж зятек... Тот час они служили рядом, в Ворошиловграде, а нынче в Германии. Какие тут пооывки:

Ты вот проходи да знакомься.

Я встал. Мою руку тиснули с болью, приподняв сперва до самого подбородка и тут же резко бросив вниз.

Я как-то неосторожно посмотрел на свою ладонь, это заметила Полина Ивановна:

- У нас, у рабочих, так: руку жмем - чувствуется, что гостей любим крепко. - Полина Ивановна уже сбросила было телогрейку, но тут же начала ее надевать. - Я в мгновение ока обернусь, у меня дома "Горілка з перцем" на такой случай. Да и день у нас на шахте был особенный.

- Чем же он был особенный? - уже по-свойски спросил я.

Полине Ивановне, казалось, этого только и надо было, чтобы поделиться новостью. Она заговорила запальчиво, то переходя на

шепот, чтобы удивить собеседника еще больше, то громко прокашливаясь, чтобы ни единого ее слова не было пропущено.

- Я вообще-то работаю в ламповой, пу, знаете, заряжаю там светильники, выдаю их при спуске под землю нашим шахтерам. Дело нехитрое. А вот на шахто у нас...

- Что на шахте? - вырвалось у меня.

- Наверно, слышали про деревянную крепь? Так теперь все, никаких деревянных стоек нету, а есть металлические трубы, ну как бы щит, понимаете? Нет, не так.

Весь забой будто одет в броню, понимаете? Работай, шахтер, и насвистывай себе песенку, никакая глыба на тебя не обрушится. А комбайн в мгновение ока стружечку за стружечкой снимает уголек и отваливает его на скрепковый конвейер. Такой комплекс уже внедрили в Червонопартизанске. Может, слышали про бригаду Мурзенко?

- Слышал, слышал, - вспомнил я встречу с киоскером в Ворошиловграде.

- Так я побежала, - Полина Ивановна широко улыбнулась, показывая свои большие белые зубы.

Вера Андреевна потянула ее за рукав:

- Сядь, ради бога. Прямо как дитя.

- Я не дитя, подруга. Я счастливая. Ух, показала бы всему свету, какой нынче рабочий класс! Да жаль, вам, бабам, дозволяется лишь на поверхности.

Глядя на Полину Ивановну, закружившуюся в вгечте, я снова вяюмнил тот день, когда, пропахший угольной пылью, ты вернулся домой из шахты, что стала памятником первопроходчикам, не спасенным тобой...

Минутное молчание и снова взмах телогрейки под самый потолок:

- Так я сбегаю.

- Погоди, Полина Ивановна, сядь, - уже строго приказала Вера Андреевна. - В войну, помнишь, у нас госпиталь стоял?

- Ну стоял. О, когда это было... Чего это ты вдруг про госпиталь?

- А как врачи погибли, помнишь?

И тогда Полина Ивановна настороженно присела к столу, пристально посмотрела на меня. Я спросил:

- Возможно, помните кого-либо из них?

- Начальника помню, - твердо сказала она.

И Полина Ивановна, женщина с мужской грубоватой струнокой в характере, заранее ничего не знавшая о моем приезде, молниеносно, будто заученную однажды и повторяемую много лет подряд, днем и ночью, вдруг назвала твою фамилию, отец.

Нашу фамилию. Мои глаза так полно налились слезами, что я потерял из виду Полину Ивановну. Себя плачущим я помнил только с той снежной зимы, когда я бежал к маме неосвещенной улицей, непослушными пальцами подбирая ползущие по сугробам полы своего пальто. Сегодня рыдание снова душило меня, как тогда. Как будто повторился тот год, та снежная зима. Как будто в это мгновение повторилась сама невозвратимая потеря.

- Вы очень, очень похожи на него, - с утешением сказала Полина Ивановна, - я в мгновение ока догадалась: вы его сык.

Она все-таки сбегала за своей "Горшкой". Трещали в печке дрова. На белую скатерть с цветастым окоемом легли ломти хлеба. Чья-то рука бережно перенесла их в тарелку. Горячо дымилась картошка. Крепко запахли соленые огурцы. Краем полотенца, расшитого петухами, Вера Андреевна вытирала граненые синие рюмки.

Полина Ивановна говорит глухим голосом, съедая окончания слов. Они с Андреевной были "семнадцатки".

Солдаты и санитары из госпиталя ох как увивались за ними. А невесты называли ребят "помощниками смерти".

И носы драли к небу невероятно. Эх, молодо-зелено.

- Меня и вот Андреевну ваш отец приучал перевязывать раненых, продолжала Полина Ивановна. - Андреевна, правда, уже в нянечках ходила в нашей поселковой больнице, кое-что могла. Ну ничего, я тоже в мгновение ока освоилась. А в тот день было так. Мы сидели у меня в доме, хлопцы в карты играли. Как заходит ваш отец да как закричит на "помощников смерти": такие и сякие, кому было сказано, вот-вот доставят новых раненых? Живо на место!..

- И вас тоже он позвал? - спросил я.

- Меня? Нет. - Полина Ивановна как-то осторожно посмотрела на Веру Андреевну. - А ее уже тут пе было. Она ушла в другое село и там приписалась к санбату.

За день или за два, да, подруга?

И осеклась, замялась. Я заметил, как Вера Андреевна повернула голову к стене, где висел портрет ее дочери в ореховой рамке. Что-то в этом рассказе недоговаривала Полина Ивановна, что-то прятала. И я уже не давал ей остановиться:

- А потом?

Полина Ивановна перевела дыхание и говорила теперь все медленнее и тише, словно не хотела, чтобы ктолибо лишний подслушал нас.

- Потом... Да, считай, через час, как все они пошли, загудело в небе. Опять начался налет. Я заметила в окно: бежит по двору

мой Петро в огороды.

- Какой Петро? - не терпелось мне.

- А... - Полина Ивановна положила тяжелые руки на колени. - Петро командовал "помощниками смерти".

После войны пришел в Нагольное, поженились мы. Да все пошло вразлад. Обещал горы золотые, а чему научил:

Водку пить научил... Выгнала... Но я только по праздникам или случай какой... Так гляжу: бежит Петро. У него было так: загудят самолеты, а ему, простите, сразу до ветру хочется. Кричал на него ваш отец, уж кричал.

Ну а если человек в страхе, что ему этот крик? Он как в беспамятстве действует. Побежал Петро. И тут гахнуло. Прямо в дом. Сразу восемь человек. И девятая хозяйка. Ее схоронили за садком, на выгоне. А врачей в центре поселка, на площади.

- Но там, на обелиске, почему-то нет фамилии?

- Там он, ваш папенька, там. Я утром все покажу.

Их всех восьмерых свезли туда, положили на солому, прибрали и под дубком, что рядом с теперешним обелиском, похоронили. Еще помню: фанерку прикрепили и написали восемь фамилий. А ваша не умещалась, так ей вроде вниз загнули немного.

- В какое время года это было? Зимой?

- Никак не зимой. Дубок, помню, стоял в осенней позолоте.

Значит, баба Настя ничего не спутала. Значит, это был не сорок второй, а сорок первый год. Просто похоронка блуждала до середины зимы на военных дорогах. Значит, еще месяца три для нас с мамой ты был жив.

Какая горькая водка. Не потому ли ее придумали пить на поминках, чтобы люди морщились в горечи и не могли слова вымолвить? Не говорят в таких случаях.

Молчание поселяется в душах. Для воспоминаний.

Для раздумий.

Полина Ивановна положила свою большую руку на плечи Вере Андреевне. Женщины прижались друг к дружке, как, может, когда-то в юности. Полина Ивановна, не раскрывая губ, затянула знакомую мелодию.

К ней присоединился тонкий голосок Веры Аплреевпы.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

А-а-а-а-а... а-а-а-а...

А-а-а-а-а... а-а-а-а...

Какая горькая водка. Как эта песня, обжигающая душу, как

это женское, полное тоски и боли "а-а-а-а-а...

а-а-а-а-а... а-а-а-а-а... а-а-а-а-а"...

...превратились в белых журавлей.

Это о тебе, о твоих боевых друзьях-товарищах в белых халатах. Вот почему - "в белых журавлей".

- Ну ладно, хорошие мои, - сказала Полина Ивановна и попрощалась с нами.

Она придет утром, рано-рано, и мы все сходим к твоему дубку.

Вера Андреевна открыла двустворчатые двери, улеглась в кухоньке на лежанке. Мне постелила в горнице.

Нет, нет, не потому, что я гость. Просто на лежанке ео друг радикулит ведет себя приличнее.

- Спокойной ночи.

Легко сказать-спокойной ночи. В неярком освещении пастолыюп лампы загадочно смотрели на меня двое внуков Веры Лндроодпы. А их мать? Вдруг мне показались знакомыми черты этой неизвестной женщины. "Мипул тридцатый год..." Ах ты, голова садовая! Я, кажется, начинаю что-то понимать. В ней, в дочери Веры Андреевны, видится мне что-то тайное. Тридцать лет. Все совпадает по времени. Неужели меня занесло в это Нагольное затем, чтобы увидеть ее с двумя детьми, ее, которая, может быть, мне сестра? Сперва захотелось узнать, как она, что, где живет, кем стала? И тут же пропало вспыхнувшее любопытство. Мне захотелось, чгобы никакой сестры у меня не было. Жил же я без нее.

И не надо, не надо мпо никакой сестры. Я никак ко надеялся на встречу с Верой, думал, куда-то уехала, умерла, наконец, мало ли что. АН нет же, объявилась на месте. И на тебе, сюрприз. Вот почему отмалчивается, вот зачем весь день водила по поселку, чтобы я слушал легенды. Мы часто с полным сознанием решаемся на встречи, которью могут принести боль. И все же решаемся.

Да что же это за страсть такая непонятая - искать для себя неприятности?! Рассудок предупреждает, как запретный огонь на дороге, а сердце увлекает, ведет, тянет тебя в неизвестность, будто она-то как раз и питает его, неясная, смутная, магнетическая.

Но что ей дает молчание? Ну приехал бы я тогда, мальчишкой, - другое дело: ничего бы не понял. Приехал бы подростком - понял бы, да не так. Но теперь!..

Последняя женщина перед последним бпем... Последняя ласка, последний глоток счастья... Мне что до этого теперь?! Пусть я лишнее сболтнул, но зачем же так? А может, она, эта в общем приятная, даже очень приятная женщина, решила

отмолчаться, чтобы не попасть в запоздалый список походно-полевых жен и таким образом одновременно поставить памятник тому, кого любила наскоро?!. Она считает памятник лучше живого человека: изваяния всегда непорочны. Потому что, по ее мпеппю, если разрушить памятник, ничего пе останется. А я?

Я ведь остаюсь.

На цыпочках отступаю от постели, сегодня приготовленной для меня. С языка так и срывается: тридцать лет назад ты был здесь и спал на этой кровати. Но постой, чушь какая-то: Вера Андреевна переселилась сюда недавно. Ну да. недавно. Она мне говорила. Но ее вещи наверняка перекочевали сюда. И эта кровать тоже... Нет, нет, кровать слишком новая. Абсолютно новая. А вот этот допотопный комод? Его ты видел, это точно. И смотрел на будильник, который отсчитывал твои последние часы... И снова нелепость: будильник "Витязь", таких тогда не было. Что же здесь тогда твое? А это? Беру в руки "Спидолу". Уж ее-то никак не могло быть тут. Легкий щелчок, и вспыхнул зеленый глазок. "Мадрид, - в горницу ворвался ровный мужской голос. - Ширится забастовка испанских горняков, в пей принимают участие более десяти тысяч рабочих крупнейшего в Испании угольного концерна "Уноса". Приглушил звук, не помешать бы хозяйке... "В Коломбо подписало соглашение о поставке Республике Шри Ланка большой партии советских тракторов", - сообщил женский голос. И снова мужской: "Богота. Население Чили живет сейчас в обстановке террора. С военных вертолетов тела убитых сбрасываются в Тихий океан". "Спидола" путает волыу с волной, звук сменяется треском, словно где-то за далью разжигают огромный костер. Это клокочет и стонет мир.

Его телеграммы сейчас слетаются на мои ладони, по венам бегут к самому сердцу. Вдвигаю антенну. И только теперь на "Спидоле" замечаю латунную пластину монограммы: "Дорогой Вере Андреевне Полшцук, участнице освобождения Донбасса..."

Моя голова упала в подушку, как в огромный сугроб.

Поскрипывает ветхая ставенка.

Я сплю и не сплю. Время потекло медленно-медленно. Время гудит, гудит, гудит. А разве время гудит? Это у меня тяжелым свинцом налилась голова. И гудит. Нет, это гудит небо. Так в точности, как тогда, в сорок первом, когда раненых должны были доставлять с фронта.

И все-таки это гул самолета. Точно. Рокочут турбины, содрогаются пласты воздуха. И небо гудит. А в салоне самолета светло, уютно по-домашнему. Девушка в синем костюме, с заброшенными за плечи волосами встала лицом к пассажирам: "Наш рейс подходит к концу.

Сейчас до полной остановки двигателей и до подачи трапа к самолету прошу всех оставаться на своих местах.

Экипаж прощается с вами, желает вам всего хорошего..."

Я сплю и не сплю. Совой смотрит в мою сторону фосфоресцирующий хщферблат "Витязя". За полночь. В это время у нас, в госпитале, наступает час рапортов оперативному дежурному. Перед тем как набрать номер его телефона, Павел Федотович долго барабанит по вискам своими толстыми пальцами. К нему в кабинет входит Ниночка: "Разрешите вам постелить?" И разбрасывает одеяло и простыни на диване. "Спасибо, детка". Ниночка поворачивается к шефу как-то по-военному и, прикрывая пальцем пушок над верхней губой, говорит: "Спасибо вам, Павел Федотович" - и, встречая изумленный его взгляд, мол, а мне за что, поясняет: "По графику сегодня должен дежурить майор Шатохин. А дежурите вы вместо него. Как там ему сейчас? Переживает, может, плачет. Вот за это вам и спасибо". И пытается выйти. Ноне тут-то было. "Подожди, егоза, - останавливает ее шеф. - Ты мне тут на ночь глядя подхалимажем не занимайся". Ниночка нежно протестует: "Л я не занимаюсь.

Вы только с виду такой непробиваемый, а в душе у вас море доброты". Ничего не понимает Навел Федотович.

Категорично желает медсестре спокойной ночи. Но снова останавливает ее: "Да, принеси мне историю болезни Пронникова". Ниночка изумляется: "Сейчас?" - "А разве я сказал - на той неделе? Что вы все меня не так понимаете?" И только теперь, когда медсестра вышла, Павел Федотович снял трубку: "Докладывает дежурный по хирургическому циклу полковник Якубчик. Количество больных прежнее, тяжелый - один. Так все в норме. - И, как автограф, свое традиционное: - Честь имею". Ниночка принесла папку с подшитыми в нее снимками и анализами и поставила перед шефом свечку, укрепив ее в пустой раковине отжившего свой век чернильного прибора. Шеф долго в упор рассматривает свечку, потом бурчит: "На кой черт мне она?" "На случай тревоги, по инструкции положено", - тоном послушной ученицы объясняет Ниночка. "А, - протянул шеф, - выходит, не ты меня, а я тебя не так понимаю". Ниночка отступила на шаг: "Я этого не сказала". Навел Федотович встает из-за стола: "Еще бы! Начальник отделения, светило, бог! Ты же побоишься мне сказать. И все вы здесь меня только терпите. Я тут вотчину свою создал, не научный центр, не очаг поиска, а вотчину. И вы это видите и молчите. И называете еще меня добрым. А я знаешь кто? Я садист". Ниночка как оглушенная опустилась в белое кресло. Что это сегодня с шефом? Уж не заболел ли? А шеф, уже

расхаживая по кабинету, продолжал говорить свой монолог. "У меня три дочери, ты это знаешь. У каждой по двое детей. Вот седьмой внук родился. И всех я держу вот тут, под своей крышей. Один зять у меня геолог, романтик. А я его кем сделал? Оп у меня торгует минеральной водой. Старшая дочка кто?

Ты знаешь, певица. А я ее сделал преподавателем пения, сиди дома, никаких тебе гастролей. А почему? Потому что хочу приходить домой и катать вот на этих старых плечах внуков. Хочу, черт возьми! - Павел Федотович расстегивает китель, его лысина покрывается испариной, он выпивает воды и, уже не глядя на притаившуюся в мягком кресле Ниночку, словно сам себе говорит: - В Белоруссии погиб каждый четвертый. Я попал в первую тройку. Повезло. Крупно мне повезло. И я хочу детей, много детей. И никуда никого от себя не отпущу". - "Так не отпускайте на здоровье", - Ниночка скорее пытается утешить шефа. Никогда она не видела его таким, никогда... Но шефа успокоить невозможно.

"Видишь, опять подхалимаж. Я людям судьбы калечу, а мне за это еще спасибо говорят. Вот я все время постукиваю виски пальцами. Замечала? А что бы это значило?

Странности гениального старика? Да? Извините! Меня мучат спазмы мозговых сосудов, и я, чтобы отвлечься, пальцами выстукиваю морзянку. А вы, молодые, думаете: из нас, стариков, мудрость лезет. И молчите. А мы пользуемся вашим молчанием. И сидим в своих удобных креслах. У нас уже головы трясутся, руки дрожат, но мы сидим. А вы вокруг нас на цыпочках ходите. Да не потому, что бережете, чтобы мы подольше не разваливались, а потому, что боитесь нас. И терпеливо ждете и думаете: "Наступит развязка, наступит". А мы все равно сидим, мы вас не очень к себе допускаем, чтобы вы не догадались, почему мы вот так пальцами. Но пока вы ждете, знаешь, что происходит? А, что с тобой разговаривать, все ты плечиками пожимаешь. Вот мама твоя, она бы сказала! Она бы сказала: "Пока вы, молодые, ждете, сами такими же становитесь". Мпого ли нужно, чтобы подхватить бациллу дряхления?!" - Павел Фсдотович расслабленно садится на диван, смотрит куда-то далеко-далеко, так что, если прочертить линию этого взгляда, она пронижет Ниночку насквозь, отчего девушка заботливо прижимает друг к дружяе свои коленки.

Только никаких коленок Павел Федотович по видит.

А это еще тревожнее, по мнению медсестры. И чтобы вывести шефа из состояния ступора, она робко говорит:

"Вы вовсе не старый. Ведь человек должен жить двести лет". Якубчик враз посуровел, вскочил с места: "Это тебе Шатохин

вдолбил. Ну так я не согласен остальные послепенсионные сто сорок лет заколачивать в козла.

Шатохин тебе таких прожектов настроит! Носится с этой проблемой "спинальных" больных, будто она одна на свете. Нас инфаркты заели, целая эпидемия по стране. Впрочем, правильно. Мы же друг другу жить не даем.

Вот я, бросил своего ученика на полдороге, а он не спит, не ест, не понимает, что на операционном столе не просто больной Пронников, на этом столе его карьера. - Павел Федотопич вдруг встрепенулся, остановился, повернулся лицом к Ниночке: - Да, так где жо история болезни Пронпикова?" Ниночка изумленно пищит: "Я же принесла, Павел Федотович". Якубчик смещался: "Принесла, да? - он подошел к столу, взял папку, полистал наспех подшитые в нее бумаги и снимки, захлопнул папку ц протянул ее медсестре: Ну, тогда унеси". Ниночка закрывает папкой свои намертво сомкнутые коленки. Болен шеф или издевается? А шеф снова движется по кабинету и, тыча себя в грудь пятерней, спрашивает: "Представляешь себе таких вот руководителей на более высоких постах? Скажешь: "Представляю".

Но ты не представляепп! знаешь чего? Последствий! Вот чего". И тут встала из кресла и выпрямилась Ниночка: "Очень даже представляю. - Девушка прикрывает пушок над верхней губой: - Вот уехал Александр Александрович на могилу своего отца. А зачем? Ищет там недостающие страницы дневника!" Якубчпк хитро сощурил глаза: "Ты меня спрашиваешь?" - "Нет, - убежденно отвечает Ниночка, - это яы так думаете, думаете, что он ищет. И мечетесь. Не дай бог, привезет. А еще хуже, если не привезет. Так вы успокойтесь, Павел Федотович. Майор Шатохпн поехал побыть наедине с памятью. От живых к мертвому отправился за советом".

Якубчик обрывает медсестру: "Это же как понимать прикажешь?" И Ниночка говорит: "Те недостающие страницы дневника должны были дописать вы, Павел Федотович. Вы! Вот так и понимать, - медсестра направилась к двери. Свечку не забудьте. Спокойной ночи". - И вышла. Якубчик, ошарашенный, минуту-другую стоит посреди комнаты, смяв каблуком ковер, как Иван Грозный в момент убийства своего сыпа.

Хлопнула ставенка. Застучал на комоде "Витязь".

Я сплю и не сплю. А может, там, в госпитале, вовсе вса не так, как мне представилось. Может, дежурит сегодня другая медсестра, не Ниночка. И мой шеф спокойно дремлет и во сне ведет со своими внуками бесконечные игры. А может, в городок ворвалась зеленая машина, доставившая в травматологическое отделение пострадавшего. И дежурный по хирургическому циклу

полковник Якубчик три часа кряду стоит у операционного стола...

Я сплю и не сплю. Вдруг ощущаю, как мои волосы трогают трепетные пальцы. Сквозь сомкнутые векп вижу фигуру женщины в наброшенном халате. О, как она осторожна! Она боится спугнуть тншпну во мне. А если я не сплю, если вскочу неожиданно: "Вы что-то хотели?" Тогда она торопливо зашепчет: "Одеяло сползло на пол, я его поправила..."

Скрипит ветхая ставенка, качается на ветру, отсчитывает множество мгновений, умещающихся в эту одну длинную-предлинную ночь.

Осторожный стук в дверь. Мгновенно открываю глаза. За окнами светло. Просто меня не захотела будить хозяйка дома до прихода Полины Ивановны. А сама проснулась давно: печка, слышу, гудит, раздаривая вокруг приятное тепло, хорошо ощущаемое в деревенской хате морозным утром. Вера Андреевна шагнула в сени навстречу осторожному стуку. Ко мне доносятся какие-то неясные женские голоса. А потом медленно открываются двустворчатые двери в горницу. Улыбчивое лицо Веры Андреевны, ее спокойные слова:

- К вам приехали.

Я уже успел вскочить с кровати, встряхнуться ото сна, чтобы ее сообщение не принять за какую-то нелепицу. Но не успеваю открыть рта, как слышу:

- Вот и я.

На пороге комнаты, в расстегнутом пальто, вытягивая шею из-за плеча Веры Андреевны, появилась, как из волшебства, Анна. Из всех мгновенно возникших догадок мозг выбирает главное: какой же я тупица. Тогда, на Крещатике, я чуть было не сотворил катастрофу, предлагая Анне, словно рыцарские доспехи, руку и сердце.

А как важно до срока оставаться на своих местах! Тогда и полету нет конца.

- Здравствуй, - сказал я немного радостно и так обычно, как нужно говорить на людях.

- Здравствуй, - сказала Анна, сдерживая восторг и растерявшись, как это обычно бывает при посторонних.

Вера Андреевна закрыла двери, оставила нас одних.

- Откуда ты? Как ты могла?

- Тихо. Я твоя жена, - Анна сбросила с плеча сумку, бросилась ко мне, повисла на шее. - Ты радуйся, что я приехала, радуйся, раз проснулся. - И она звонко, так, чтобы слышала через дверь Вера Андреевна, целовала меня в щеки, в колючий подбородок.

Я чувствовал ее морозные губы, шершавые пальцы, отбрасывавшие с моего лба волосы, и тогда впервые я привлек ее

к себе и только теперь, ч объятиях, ощутил такой, какой представлял себе ночами наедине. Оказывается, кроме позвоночников, есть еще под этим солнцем женские груди. Вот они упираются в меня и сами, как два солнца, обжигают вечной тайной. И никакая профессия не властна над ней.

- Ты сумасшедшая, - говорю я, задыхаясь.

- Но ты не упрячешь меня в психиатричку. Потому что я люблю тебя, майор медицинской службы.

Вера Андреевна постучала в дверь. Предлагает позавтракать нам одним, она торопится в поссовет, а там мы все встретимся у обелиска.

- Ну, как тут у тебя? - тихо спросила Анна.

Как тут у меня? Рассказываю все подробно. Баба Настя, дед Федосей, Полина Ивановна. И ничего, одни легенды.

- А вот это моя родственница, - говорю и показываю на портрет дочери Веры Андреевны и пытаюсь доказать, что это так, что все совпадает по времени.

Анна слушает, раздумывая, складывает губы трубочкой, а потом говорит:

- Нет, здесь что-то другое. По что?

Нам пора идти.

На улице свежо и еще пустынно.

- Такси отпускать? - спросила Лнна, указав на машину, стоявшую на дороге.

- Это ты от самого Ворошиловграда?

- Ага. В аэропорту поймала.

- Нет смысла. Сегодня нужно возвратиться в Киев.

- Я тоже так подумала.

Какой-то обязательный деловой разговор. Неужели такие разговоры должны вести между собой муж и жена?

А как же тогда полет?

Подходим к машине. Наклоняюсь к ветровому стеклу.

- Решила вас пока не отпускать. А?

Водитель податливо повел плочами. Где мы с ним виделись? Вроде знакомое лицо. Да уж не Аксенов ли Коля? В мгновение ока, как любит говорить Полина Ивановна, память перенесла меня в отдаленный гарнизон...

Ранение в спину... Наши руки, соединенные трубкой, по которой идет к нему моя кровь... Говорят, не только по фамильному родству признается братство. Помню, тогда Коля просил меня написать письмо девушке, мол, не подняться мне с койки. А потом, уже после увольнения в запас, дал о себе знать: "Верно вы сделали, товарищ майор, что письмо не отправили. Теперь у нас трое ребятишек. Вот, выходит, скольких вы сразу

спасли! И тех, кто от наших детей жилку жизни потянет..."

Спасибо тебе, брат-солдат Аксенов...

Водитель открыл дверцу, вышел и, обхаживая машину, раз-другой стукнул носком ботинка в левые, а потом в правые скаты. Коренастый, медлительный в движениях.

Ничего общего с Аксеновым, поджарым и вертким. Но почему мне в этот день вспомнился вдруг Коля? А может, не вдруг? Наверно, в такой день в каждом человеке видятся знакомые черты.

- Так подождете?

- Как прикажете, товарищ майор, - ответил водитель.

Анна молча стучит сапожками по каменистой дороге.

Оказывается, у нее мелкий шаг. Или она вся сегодня кажется маленькой.

- Куда ты дела Ангела?

- Все как ты сказал: забросила в Ленинград, в академию.

- Он встретился с полковником Гребенюком?

- Сразу нет. А потом я улетела.

Тем временем мы подошли к дому с ветрячком.

- Вот сюда, - говорю.

Она останавливается и долго не двигается с места.

Здесь была операционная. Здесь отец остался в вечном долгу перед Ваней Федоровым. Но здесь же на его груди блеснул боевой орден. Здесь, рядом с лекарствами, стоял и его автомат.

- Но, понимаешь, - говорю я Анне. - Вера Андреевна что-то молчит, и понять ничего нельзя.

- А ничего и не надо понимать.

Анна часто дышит, морозный пар цепляется аа ее медные прядки.

- Но странно, - не успокаиваюсь я, - сегодня ночью Вера Андреевна гладила мои волосы. Зря?

Анна с удивлением смотрит в мою сторону:

- Почти у каждой женщины, хоть в мыслях, бывает однажды мужчина, о котором она никогда не говорит даже самой себе.

- Но ты сама думаешь, гут что-то другое?

Дорога резко метнулась вправо, и тут же началась площадь. На углу штакетника, окружившего обелиск, у;ке стояла Полина Ивановна. Она медленно обернулась, глазами поздоровались со мной, потом так же с Анной, словно они давно знали друг друга.

- Вот он, дубок, - сказала.

Обыкновенный, совсем обыкновенный. Шершавый ствол, разбегающийся ветвями в разные стороны. Наверное, летом под этим дубом бывает тенисто и прохладно. И долго держится листва оттого, что он ветпцстый: такие деревья обычно много

дождевой воды сохраняют.

"Работают все радиостанции а Центральное телевидение..." Каждый год 9 мая звучат слова, с которых начинается в стране минута молчания. "Товарищи! Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей... Нет семья, нет дома, которого не коснулась бы война..." На голубоч экране мечется тревожное пламя, похожее на цветы, возложеппые к изголовью тех, кто не вернулся в спои семьи. "Проходят годы, а они все те же, они всегда с нами и в нас..."

Здравствуй, отец.

- Мое почтение! - слышу я твой голос. - Надеюсь, Ты не будешь лить слез, как твои спутницы. Ни к чему это теперь, правда? Главное, ты нашел дорогу ко мне.

И если эта дорога поможет тебе в жизни, я благословляю тебя. Но здешним местам я сделал первые шаги к человеческим судьбам, здесь пролегли тропки и твоего детства, это земля, где теперь живешь ты, где будут расти твои дети, где никогда не закончится жизнь.

Ветер качает ветви дубка. А сам он неколебимо сторожит палисадник, посреди которого солнечным камнем смотрится сегодня, при ясном свете, обелиск со звездой.

Неслышно подошла Вера Андреевна, положила маленькую ладонь на побеленный, словно перебинтованный, штакетник.

- Глядите, дед Федосей ковыляет. Целый год старик не выходил на площадь. С кем это он идет? - сказала Полина Ивановна.

- А это его последняя жена, самая молодая, баба Варвара, - объяснила Вера Андреевна.

Дед Федосей подошел, снял картуз и начал сбивчиво говорить:

- Я, значит, в энтот день был в шахте. А вот она, - он показал картузом на бабу Варвару, - про главного врача знает не то, что мы, вот в чем дело.

Баба Варвара, молодо подбоченясь, морщинистой ладонью провела по губам, на мне остановила взгляд:

- Главного тогда не убило, только вот сюда, в грудки, ранило. Его увезли на машине.

- Вот в чем дело, - вставил дед Федосей и надел картуз.

Вздрогнула Анна, испуганно прижалась ко мне.

- Да как же, баба Варвара? - недоверчиво спросила Полина Ивановна и недоуменно заморгала веками. - Погибло восемь человек, и вот на этом дубке фамилии были написаны.

Баба Варвара снова провела ладонью по губам:

- У пего усики были? В точности как у вас, - указала на меня.

- Когда их повытаскивали в том доме, сразу и хоронить стали. Ведь что было? Отступали. Все быстро-быстро. И написали, что ж. А двое, слава богу, были живые. Сама ухаживала. Главный лекарь все водички просил, я принесла, а он давай команды говорить: грузить раненых, не паниковать, лекарства не оставлять... А тут какая-то машина по ухабам несется. Остановилась. Какой-то военный увидел у меня на руках начальника. И увезли...

- Куда? - вырвалось у меня.

- Бог знает. По той дороге, к Сталинграду, кажись...

Анна рванулась было с места, чтобы побежать по площади к машине, которую таксист пригнал вслед за за нами:

- Мы поедем, поедем по той дороге, все равно найдем.

"Куда же нам ехать, где еще пройти новые места, чтобы возвратить невозможное?" - подумал я, а вслух сказал:

- Одного отца потеряли, надо спасать другого.

Плечи Веры Андреевны дрогнули, по она тут же превозмогла какую-то внутреннюю встревоженность, легонько поправила платок да так и застыла, потупив взгляд в землю. Анна подошла к ней:

- Мы слушаем вас, Вера Андреевна. - Вера Андреевна молчала. - Секунду, Вера Андреевна, - не успокаивалась Анна. - Тридцать лет назад вы сообщили, вы написали письмо. Так? Больше того, вы дневник прислали, ну, который об Иване Федорове. - Вера Андреевна молчала. Анна решительно шагнула к ней, говоря с обидой, чуть не плача: - Значит, вы были последней, кто видел отца Сашиного? Вы? Отвечайте же!

- Да, я была последней, - сказала тихо Вера Андреевна.

- Вот в чем дело, - сплюнул дед Федосей.

- И почему все наоборот: фамилии отца нет, а есть фамилия Федорова? уже настаивал я. - Это важно.

Сейчас именно. Поймите, за этим я приехал. Почему отец не спас Федорова? Тридцать лет прошло, и ваши личные отношения... Почему не спас? Вот это, а остальное...

Вера Андреевна поежилась. Полина Ивановна, до сих пор стоявшая в стороне, прокашлялась в кулак:

- Говори, подруга, говори, чего уж тут...

И тогда, оглянув всех нас грустным взглядом, заговорила Вера Андреевна:

- Я тотчас же узнала вас, как вы показались на пороге поссовета. Вы такой же, как он. Такой молодой, каким был он. - На своих щеках я ощутил теплые женские ладони, я взял их в свои. Голос Веры Андреевны звучал тихо, но мне казалось, его в этот миг слышит весь мир. - Я не подала знака, что узнала вас... Чтобы сами люди рассказали вам, каким был ваш отец...

Рассказали, как умели... Кто остался... А теперь и мой черед пришел сказать слово. Стояла у нас в Нагольном воинская часть. И тот час я встретила Ваню, моего Ваню Федорова, теперь он рядом и слушает нас. - Вера Андреевна подошла ближе к обелиску. Мы с Анной виновато переглянулись. - А потом ушла воинская часть, и с ней мой Ваня. А тут пришел в поселок госпиталь. Санитаров не хватало, и мы с Полиной Ивановной помогали врачам, вашему отцу. Однажды доставили новых раненых. Смотрю, на серых носилках Ваня. Мой голубоглазый, мой русый, мой родной Ваня Федоров... Если бы свою жизнь можно было отдать другому, ваш отец не раздумывал бы, отдал, так он бился над ним. Три дня и три ночи я провела рядом с начальником госпиталя, помогала отвоевывать у смерти дорогие секунды жизни моего Вани. А когда. проклятая бомба сразу восьмерых убила, - Вера Андреевна говорила ровно, только разве паузы выдавали со волнение, - когда я примчалась, когда увидела: военврач второго ранга ранеп... Он говорил жарко... И просил прощения... Он не должен был делать операцию моему Ивану... Таких тогда не делали, это теперь можно. И ваш отец отдал мне свой дневник и велел вырвать в нем последние страницы, где он намечал, как нужно спасать таких, как мой Ваня.

- Зачем вырвал? - спросила Анна.

- Сказал: это моя фантазия, а сын мой, говорил начальник госпиталя, когда вырастет, пусть думает, чтз я спас, так ему легче будет искать мою фантазию... И тут его увезли на машине, - Вера Андреевна повернулась к бабе Варваре, та поняла без слов.

- Плох был начальник... Может, где за Белым Колодцем, а может, дальше его...

- И про это я знала, - продолжала Вера Андреевна, - но никому не говорила, чтобы военврач второго ранга нашим остался. Навечно среди нас, нагольнинцев.

Три дня и три ночи.... Двадцатилетняя девчонка, примостись где-то на крыле машины, под свист бомб выводит корявые строчки, и они чудом обгоняют отступающих и чудом пробиваются по адресу.

Горит солнечный камень. Звезда пятью лучами, как антеннами, слушает мелодии легенд. Звезда, как большое сердце, рассказывает их каждому, кто через годы приближается к ней.

Низкий вам поклон, Вера Андреевна. И простите меня. При случае передавайте вашей дочери и зятю привет.

Пусть там, в Германии, они поведают о солнечном камне в далеком Нагольном.

Спасибо вам, Полина Ивановна. Вы-то лучше всех знаете, как трудно добывается солнечный камень.

Спасибо, дед Федосей, что нашли силы в ногах добраться в этот день до площади.

Спасибо и вам, баба Варвара. Если бы не вы, на целый час, а может, даже на несколько часов меньше прожил бы начальник полового госпиталя. Спасибо, баба Варвара, вам за эту драгоценную вечность.

Теперь нам нужно спешить. Наш самолет в четырнадцать часов берет курс на Киев.

Спасибо вам, люди добрые. Я думал, что у нас с мамой всего и осталось от отца, что два диплома, да портрет Пирогова 1854 года, да открытки с фронта... да дневник, где все оборвалось на полуслове... А вышло вон сколько! Вышло, что я просто не догнал брезентовую "санитарку" отца, а она есть, гудит по земле, и он в ее кабине... Разгоряченный и задумчивый, злой и грустный, уставший и дерзкий. Живой человек. И кричу я вдогонку: не уходите, фронтовики, от нас подольше, никогда не уходите. И поверьте нам, сыновьям, таким, какими мы остались в вашем последнем взгляде. Вы и сегодня живете с нами нашими тревогами, нашими поисками, нашей службой, всей нашей жизньто. И без вас нам не обойтись никак.

"Тушка" берет курс на Киев. Анна разносит леденцы. Я устроился на переднем сиденье, сквозь иллюмипатор считаю облака. Нет, не поддаются они счету. Они как фантазия, как вымысел. И мне не за что теперь уцепиться. А я мчался сюда. Зачем? Провал, конечно, полный провал. Иллюзия опоры рухнула. Гремят турбины.

Через час показалась серая лента посадочной полосы Бориспольского аэропорта. И вот он снова, наш госпитальный парк, парк, где каждый поворот аллеи знаком так, как жилка на собственной руке. И все же сегодня этот парк какой-то обновленный, другой. А с виду здесь все как вчера, как сутки назад. Но что-то изменилось, а что - сразу не скажешь. Может, это в нас самих однажды поселяется обновление, которое приказывает по-новому увидеть давно известное.

Вдоль нейрохирургического отделения прохаживается Якубчик. Топчется, как возле своей вотчины. Папаха сбита набекрень, шинель нараспашку. Завидев меня, дед остановился.

- С приездом, - тряхнул мою руку. - Ну вот...

Что значит "ну вот"? Какую еще уловку придумал?

Понять ничего нельзя. Взгляд рассеянный, слова обрывистые.

- А я ведь мог быть на месте твоего отца, - говорит. - А отец твой мог быть на моем месте. Выходит, надо работать за двоих, надо, черт возьми, действительно жить двести лот. - Я не перебиваю Павла Федотовича, хотя он делает длинные паузы, как

бы вызывая меня на разговор, вслушиваюсь в его голос, огрубевший на утреннем холоде, всматриваюсь в спокойные серые глаза, которые он то и дело закрывает дрожащими веками. Павел Федотович устало вздохнул. - Дотянешь до моих лет, заболеешь всеми лихорадками, когда увидишь, как тебе на пятки наступают. Это очень больно, мил человек.

Молча новернул в корпус. Я за ним. Поднимаемся без лифта. Не переводя дыхания, полковник указывает рукой на свой кабинет. Заходим. Постукивая пальцами о виски, шеф смотрит на меня долгим испытывающим взглядом.

- Вы были во всем правы, - говорю я.

- Прав или пе прав, но решение принято. Операцию, эту уникальную операцию будешь делать ты. А я буду тебе ассистировать, если ты не возражаешь. Честь имею. - И вышел из кабинета.

Как то есть я? Что с ним произошло за эти сутки?

А может, произошло что-то со мной? С нами обоими?

Мир целый перевернулся? И шеф в ночь своего дежурства это увидел лучше меня? Как же это - я?! Неужели вот так и наступает самый главный депь в моей жизни?

- Поздравляю вас.

Обернулся: в углу, на фоне плаката "Эвакуация раненых в момент атомного нападения", притаилась Ниночка.

Мы с Якубчиком ее даже не заметили. Что же ей сказать? Я ведь знал, что это она, наша послушная, наша исполнительная Ниночка, понесла, как сорока на хвосте, сомнения Якубчика к Анне, и та заметалась, дело дошло до выписки Пропникова. Один сомневается и ничего не делает - понятно. Но сомнения власть имущих иные выдают за свою работу - вот что страшно. Но что взять с Ниночки?! Двадцать лет и пушок над губой, пушок, указывающий, как утверждает Ангел, на ее темперамент.

Он прав в данном случае: перестаралась в послушании.

Или просто сама тогда струсила.

Я говорю:

- Решил пригласить вашу маму... У нее фронтовая смелость... Ее не зря похвалил сам Рокоссовский.

- Зачем? - изумляется Ниночка. - Думаете, я не смогу? Я все смогу... рядом с вами. - Девушка смутилась, ее длинный палец затрепетал, прикрывая пушок. - Я ведь что... Я думала, она вас не любит...

И Ниночка выпорхнула за дверь. Черт знает что. Ревнует к Анис? Но я еще сам тут ничего не понял. Но если Ниночка ревнует... Простите, а почему она должна ревновать? Неужели те гвоздики, которые она клала по утрам в мою пепсльшщу, чю-то

значат? Глупости, ее в сторону.

Наступает самый главный депь в моей жизни. Вот что сейчас важно.

- Нет, нет, Анна, ты не сиди возле отделения с самого утра. Ты пойди в город. Ведь такая отличная погода.

Не убивайся, не переживай, иначе ты мне все испортишь. Ты просто еще раз посмотри мультик "Ну, цэгоди!" и разберись, чего хочет волк от маленького бедного зайца. Хорошо? Ну вот и умница. И вытри, пожалуйста, глаза. Неприлично все-таки, тушь побежала.

- Я должна быть здесь.

- Твой отец проснется к вечеру, придешь, напишешь записку.

- Я буду здесь, потому что вы, потому что ты там.

Помнишь тот вечер, ты мне тополь показывал, а потом...

Ты тогда не погорячился, правда?

Я присел на лавочку, достал портсигар, промелькнуло в голове: "Майор медицинской службы располагает спичками?" Я говорю:

- Когда-то, еще студентом, я был вроде как женат.

У меня растет сын.

- Секунду. Он тоже будет врачом?

- Он шалопай, значит, не будет.

- А она?

- А она, как теперь принято объяснять, полюбила другого, значит, не любила меня. - Я встал. - Одному волноваться проще.

- В чем же моя ошибка? Неужели ничего нельзя исправить? - шепчет Анна.

- Исправить можно все. И лишь там, где прошел скальпель, уже ничего изменить нельзя... Мне пора.

- Три "ю" не забудь.

Никогда не забуду. И два ее солнца касаются меня, вливаются в меня, уничтожают все никчемные слова.

А вокруг нянечки, медсестры. Неловко как получается.

Ну, все. Еще раз встречаюсь с Женей. Да что с ним?

Только брови, своп исспня-черные ангелята, сдвинул так, что лишь по возникшей на переносице борозде можно определить, что их две. Медсестра мне тихо говорит на ухо: Женина девочка, которую она с женой назвали Оксаной, прожила только сутки... Спросить Женю, какой он выбрал наркоз, ннтубациониый с управляемым дыханием или... Но Женя всегда выбирает верно. Только сегодня он, как никогда еще, собран весь, словно йог, в одну неделимую клетку.

- Там Пронников вам что-то хочет сказать, - снова шепот медсестры.

Захожу в палату. Улыбается. По это не улыбка, а скорее маска, даже крик. Переживает, бедняга. Что ж, естественно, больной волнуется перед операцией, врач - после нее. Воспаленными губами, стараясь не терять улыбки, Иван Васильевич говорит:

- Вчера у меня в палате снова целый вечер была ваша мама. Елена Дмитриевна читала мне книгу. Межелайтиса "Ночные бабочки". Ночные бабочки, они летят на огонь, сгорают, но летят...

- Но мы с вамп не мотыльки, - касаюсь я плеча Ивана Васильевича. - Вы о чем-то хотели меня попросить?

Иван Васильевич отвернул от меня голову, как в первую встречу, я слышу его дрожащий голос:

- Саша, Александр Александрович. Если мы с вами больше не увидимся, считайте, что один из нас просто не вернулся из разведки, как это часто бывало на войне.

Мне надо бы ему сказать "спасибо", но я говорю, что мне не нравится его щека, она чуточку подергивается.

Скажу медсестре о премидикации, укол снимет реакции на раздражители. Но, Иван Васильевич, дорогой! Я, видите, сиокоеп. Из двенадцати вариантов нашей операции два возможных случая без колебаний утвердили в Ленинграде. Но этого я по говорю. Потому что каждый вариант по ходу дела обязательно будет с вариациями. Операция ведь делается по законам симфонии: основная, тема и вариации. Ивану Васильевичу я говорю о полной уверенности полковника Якубчика. Правда, Павел Федотович уже успел мне сказать: "Трудно подготовить к операции больного, еще труднее, оказывается, врача".

Но ведь он пошутил, Иван Васильевич.

Струя воды бархатно обволокла руки. Рядом со мной моется Павел Федотовпч. Хитрющий старик. Может, я просто поначалу не понимал его? Не понимал того, как искусно он подставлял мне подножки, как усложнял барьерами мою дорогу, испытывал, смогу ли я эти барьеры взять. Все забрасывал мепя на быстрину, о которой я ему признавался тогда, в отдаленном гарнизоне. Но там была одна глубина, тут другая.

- Можно начинать.

В дверях лицо Жени, розовое лицо, подчеркнутое белизной операционного костюма. Мы все в этот день становимся "снежными человеками". "Можно начинать..."

Это значит, Иван Васильевич уже спит.

- Перевожу на управляемое дыхание. - Голос Ангела теперь звучит за дверью.

С приподнятыми, согнутыми в локтях руками я вхожу под

свет бестеневых ламп. Увидел мельком, как за окном закачалась под ветром острая верхушка тополя.

Сколько раз я переступал этот порог и, подойдя к подоконнику, видел, как упорно тянет тополь свою макушку-буденовку к нашему четвертому этажу, чтобы однажды наконец заглянуть сюда, как, мол, идут у нас дела.

Потом я протягиваю руку и чувствую холодок скальпеля, вложенного медсестрой в мою ладонь, без всяких слов. По моей спине побежала первая соленая капля.

- Я благословляю тебя, - это ты сказал мне там, в Нагольном. И теперь звучит и звучит отцовское:-Благословляю.

- Зажимы...

Перевязал первый сосуд, отрезал нитку. Все глубже, и глубже, и глубже, как по шахтному колодцу.

Час.

Тополь, седина Ивана Васильевича - все ушло, пропало. Сейчас только это: огненной красной зарей вспыхнувшее поле. Поле и я.

- Работаешь нормально. - Голос полковника Якубчика помогает ощутить время.

Час тридцать.

А самое опасное начинается только теперь. Доступ сзади. И снова холодок в руке, снова зажимы. Побежали, заструились капли.

Два часа.

- Осторожно, позвоночная артерия рядом.

Тампон. Тампоны. Много тампонов. И вот ее, голубоватую, хорошо видно. И мы уже в стороне от нее. Голос Якубчика:

- Деликатнее.

Но куда, к черту, деликатнее? Скальпель уперся в сросшуюся мозоль позвонков. Тверже камня! Природа зафиксировала травму. Но если бы она этого не сделала, позвонки шатались, и еще тогда, при падении с обрыва, гибель была бы неминуемой.

- Спондилез, - опять голос Якубчика. - То, чего я боялся.

- Ну да, я не боялся этого, - говорю в сердцах.

- На кой черт лез? Я тебе говорил.

Подплыл Женя Ангел:

- Вы долго будете лаяться?

Якубчик смотрит на меня. Я - на Якубчика. Дуэль глазами.

По какому-то знаку шефа Ниночка выскальзывает из операционной. Зачем? Мне кажется, она помчалась в ординаторскую, к телефону. "Мама! Срочно, мамочка! Понимаешь, человек рассечен насквозь. Мама, Павел Фицотович говорит, без тебя не выдержит. Срочно, миленькая".

Три часа. Три часа двадцать минут. Три часа тридцать минут... Три часа сорок... Ни с места. Тринадцатый, тот тринадцатый вариант, которого не ждут. Он был прав, этот хитрый Якубчик. "Если мы с вами больше пе увидимся..."

- Я зашиваю, - говорю сквозь марлевую повязку, под которой скрыта закушенная до крови губа.

И в этот миг чувствую, как меня ударили по поге бахилой. Удар мягкий, но удар. На таком языке Павел Федотович еще никогда не изъяснялся. Встряхиваюсь:

- Дайте зубной бор.

Это последнее, на что можно надеяться. Сверло прошпвает сросшиеся тела позвонков с такой силой, с какой отбойный молоток вспарывает пласт антрацита. Впрочем, там, на Донбассе, молоток уже сдают в музей, а мы все еще, черт возьми, должпы выкручиваться, забываем в суете, что все в конечном счете зависит от нас самих.

- Ретрактор! - теперь я кричу так, что мне его подпосят сразу двое: Якубчик и медсестра.

Пять часов.

Еще два часа уходят на фиксацию. С "древа жизни"

павсегда снята удавка. И ради этого, считай, две жиэнп прожито, две судьбы, а может, и того больше.

А на "снежных человеках" теперь костюмы цвета подталого серого снега.

Такой снег бывает весной. А может, и в самом дело уже весна? Тополь бьется ветвями в окно. То ли обмерзли, то ли набухли почкп.

Потом я захожу в палату, долго стою, слушаю ровное глубокое дыхание Ивана Васильевича. Глазами говорю Павлу Фсдотовичу: "Спасибо, дед". Выхожу во двор. И у салюго входа в отделение на лавочке вижу синий комочек. Конечно, Анна никуда пе ушла. Она чутко обернулась на мои шаги, прислушиваясь ко всем шорохам на земле, к себе. "Что же сейчас произошло?" И мне, как в первую встречу, показалось, она сама знает ответ, только не смеет произнести его вслух.

- Это было очень трудно?

Тут, как из-под земли, вырастает Павел Федотович.

Его дрожащие пальцы трепещут у висков:

- Считайте, что сегодня он слетал в космос.

Противный дед. Никакой конспирации.

Мы смотрим ему вслед. Сутулым от усталости плечом он толкнется о ствол тополя, смешается, улыбнется своей неловкости. А тополь накренится под ветром, пригнет макушку-буденовку книзу, как будто в пояс поклонится старому хирургу.